

КР | ЕМ | ЛЬ

За



Р
Е
Ш

ЕТ

К
О
И



THE PENNSYLVANIA STATE
UNIVERSITY LIBRARY

KREML HINTER DEM GITTER



VERLAG „SKYTHEN“ G. M. B. H. / BERLIN W 30
1922

Kremľ' za reshetkoi
== == ==

КРЕМЛЬ ЗА РЕШЕТКОЙ

(Подпольная Россия)



ИЗДАТЕЛЬСТВО „СКИФЫ“ / БЕРЛИН
1922

**Право собственности закреплено за издательством
во всех странах, где это допускается законами.**

**Alle Rechte vorbehalten,
insbesondere das Übersetzungsrecht.**

**Copyright by Editor („Scythians“)
1922.**

ПОДПОЛЬНАЯ РОССИЯ



„Кремль за решеткой“.

(Письма из Кремлевской тюрьмы М. А. Спиридоновой
и А. А. Измайлович)

Первый арест.

Автор этих строк А. А. Измайлович, была при Николае на Нерчинской каторге 11 с лишком лет и, вернувшись после февральской революции в Россию, стала работать в партии Левых Социалистов Революционеров.

Арест ее и М. А. Спиридоновой, о котором она пишет (в июле 1918 г.), был первым ее арестом у большевиков, в котором большевики продержали ее недолго, как и во второй арест в Минске — в январе 1919 г. Третий же ее арест — в октябре 1919 г., дал ей заключение в Коммунистической Бутырской тюрьме, длившееся до сентября 1921 г. С тех пор она находится вместе с М. А. Спиридоновой под домашним арестом.

Из участка — в тюрьму... Из Большого театра — в Кремль.

Целая вечность, казалось, отделяла нас от многолетней царской тюрьмы, оставшейся там, далеко, в теперешнем царстве Семенова. Но вот, опять за решеткой, и будто бы не было этой «вечности» — 16-ти месяцев.

Сразу сказалась наша «прививка». Кто растерян, кто тоскует уже по воле после нескольких только дней сиденья. Мы с первой минуты — хозяева своего положения. Господа своего времени. И сразу уже времени не хватает.

Многое надо сделать, о чем приходилось только мечтать на воле, среди гор текущей работы.

Была самодержавная монархия. Стала Советская Федеративная «Социалистическая» Республика. А тюрьма — та же. Разве грязнее только. Грязь поразительная. Не тюремная уж, а этапная. Сырые каменные, все в темных пятнах от сырости своды, а стены густо увешены совершенно черной паутиной. Это до Ленина, говорят, было денежное хранилище. Для жилья оно мало пригодно. Места стало мало, а арестантов слишком много. Матрацы такие, что не только не ляжешь, а не подойдешь близко. Ни одеял, ни подушек, ни простынь. И это ничего — двое суток проваливались же на полу — паркетном, правда. Есть еще разница, кроме большой грязи. При Николае к тюремному начальству обращались с титулом «господин». В Советской Республике этот титул заменен словом «товарищ». «Товарищ комендант», «товарищ караульный начальник». Но по существу здесь решительно нет никакой разницы. Слово «товарищ», обращенное к тюремщику, который тебя стережет, к следователю из правительственной партии, путившей в ход против другой Советской партии всю ложь, клевету и всяческое насилие, это слово делается подневольным, лживым. Как тогда, при Николае, мы обходились без «господина» — так не бросаем сейчас в нечистом месте святое слово — «товарищ». И стены расписаны, как на этапке, только видно, здесь искусству больше свободы дается. Не только надписи, но и рисунки, целые пейзажи, портреты. Вот картина «расстрел». Несколько фигур, уродливо, по детски нарисованных, выстроились в ряд, а другой ряд фигур стреляет в них из винтовок. Это не поэтический вымысел, отсюда недавно ушли на расстрел 6 человек. Под картиной типичная надпись: «попал прямо в. . .» И от этого цинизма картина делается жуткой.

Вот, целый дневник на стене:

«3-го июля в среду скучал и жду результата в 12 часов.

4-го четверг сильно скучал и ждал результата.

5-го пятница был допрос и сильно жрать хотел.

6-го суббота нас стало двое и принесли на подпись допрос.

7-го воскресенье с утра стрельба и нас стало 14 человек».

Наши «художники» занялись тоже.

Во всю стену оштукатуренной камеры художественная надпись углем. Луначарский смело может взять ее для монументальной пропаганды потомства, да и не только для потомства назидательна она:

«Да здравствует 3-ий Интернационал. Левые Социалисты-Революционеры, члены 5-го Всероссийского Съезда Советов Крестьянских, Рабочих и Казачьих Депутатов, арестованные Советом Народных Комиссаров за террористический акт, совершенный над послом германского империализма гр. Мирбахом боевой организацией партии Левых Социалистов-Революционеров по постановлению Центрального Комитета партии. . .» И все фамилии, художественно сгруппированные. Исполнитель надписи кончил, слез с устроенных им подмостков и залюбовался своей работой издали.

— «Интернационал, товарищи.»

Гремит Интернационал. Караульный латыш показывается в дверях. Снимает фуражку и одевает ее только после окончания песни.

— «В удивительное время мы живем» — размышляет М-ский вслух — «Арестанты поют свой гимн и стража обнажает головы. В старое время пели ли когда заключенные «Боже, царя храни.»

Да, время удивительное. Шалки снимают при пении Интернационала, сами поют, а верных носителей этого самого Интернационала сажают в тюрьмы, клеймят их предателями, только бы не провиниться перед представителями другого — черного интернационала буржуазии.

10-го июля.

Ермоленко, сидящий здесь, в каменных сводах Кремля, уже с месяц по делу прошлогоднего июля, радуется:

— «Месяц сижу здесь. Ни одеяла, ни простыни не давали, на прогулку ни разу не водили, теперь из-за вас все получил.»

Одеяла и простыни дали. Подушек не полагается. В царской тюрьме были соломенные подушки.

Этот Ермоленко замешан в прошлом июле в каких-то документах, которые тогда выплыли против мятежных большевиков, особенно, кажется, против Козловского. Про этого Козловского уже после октябрьской революции пошла молва, что он взяточник и вообще грязный человек. Видно, в самом деле, он дрянной человек. Чем иначе объяснить такую мелочную мстительность его по отношению к Ермоленко. По приказанию Козловского Ермоленко был арестован месяца три назад в Хабаровске. По личному распоряжению Козловского Ермоленко была запрещена всякая медицинская помощь во время его болезни. Несчастливая наша социальная революция — какие только темные элементы и проходимцы не примазываются к ней.

12-го июля.

По-немножку начали выпускать. При допросах пытаются уговорить допрашиваемых отречься от их партии, как, бывало, уговаривали написать прошение «на высочайшее имя» о помиловании. Ничто не ново под луной. . . А одного кто-то, кажется, Стучка, убеждал «пожалеть Спиридонову, которая, как мученица, взяла все на себя, и сказать, что он сам знает о подготовке акта над Мирбахом». Чем не какой-нибудь жандармский ротмистр или товарищ прокурора. Они, как истые социалдемократы, и экономические материалисты —, на себе самих стараются доказать истинность своей догмы (идеологический

фактор есть только надстройка над определенными условиями) и, как при самодержавии, заткнули всем рот и действуют в пустоте истинными жандармскими и охранническими методами.

13-го июля.

Сегодня, поздно вечером, Марусю увели от нас. Говорят, в другое помещение Кремля. Все долгие 11 лет каторги мы провели вместе, в одной одиночке. А отсюда уводят. . . Сейчас — поздняя ночь. Выстрелы где-то близко. Что, если это ее расстреливают. . . Один выстрел из винтовки — и комочек мозга и нервов, зажигающий огонь в ней самой и в других, кто знал, кто слышал и видел ее, — этот комочек мокрой слизью разбрызгается крутом по камням и ее не будет. . . Создайте потом всеми своими «Правдами» и «Беднотами», всем красноречием Ленина и Троцкого такую огненную любовь к социальной революции, такую безмерную силу духа, какая заключалась в этом комочке, в разбитой вами черепной крышке. . . Нет, они не посмеют ее расстрелять. . .

14-го июля.

Печатают письма отступников. Отступники были всегда и будут. Сила духа, горящая в некоторых, как пламя, в других едва тлеет, как гнилушка.

Будет ли пройдено когда это самое несвергаемое, самое ужасное неравенство. . . Но есть и другие «отступники». Есть Савлы, превратившиеся в Павла в момент гонения со стороны других Савлов. Об этом нельзя громко говорить. Нельзя назвать имя, как называют себя те, ваши верно-подданные отступники. Нам надо уходить в подполье. К нам вернулись времена царизма в момент жесточайших его репрессий. Но и в подполье яркой звездой будут гореть те, кого совесть привела от вас к нам. Сказал один из таких:

— «Я не ними. Я — с вами. Там я не мог выносить того лицемерия, которое ясно обнаружилось в первый день

С'езда. Одной рукой зовут к восстанию против мирового империализма, а другой душат это восстание. Я после первого заседания С'езда разорвал свой партийный билет.»

И пришел он это сказать, когда мы были уже арестованы, когда на нас улюлюкали и лили грязную клевету ваши «Правды». И остался с нами. И он не один.

16-го июля.

Товарищи в соседней камере спят. Тихий, свежий вечер. В открытое окно льется запах цветущих лип из кремлевского сада.

Цветут липы. Скошенное сено лежит рядами. В тихой речке отражаются звезды. Темной стеной, как очарованный, стоит лес.

Где этот мир. . . Есть ли где-нибудь такой край, где нет липкой, грязной клеветы и лжи, которая зовется «правительственной политикой», где нет решеток, где не расстреливают друг друга. Где человек лицом к лицу, свободный и зрячий, стоит с природой, вдыхая полной грудью запах разгоряченных полей, бросая семя в землю, семя произрастает и дает плоды посеянному. И нигде нет насилия, нет крови и стонов. . . И подлой, трусливой клеветы нет.

Это будет. Это будет потом, скоро. И пока этого нет, всякий бегущий к тихому покою, к правде природы, всякий испугавшийся крови и стонов — есть трус и изменник.

Только на страдании воздвигается новое царство будущего. На крови и на слезах. Но не на обмане, не на лжи и клевете. Это — *гнилые* подпорки, они не выдержат. Это должны знать большевики.

17-го июля.

Днем от М. рпишла записка. Может быть, последняя в ее жизни. Там есть такие строки:

«Газеты читаю с отвращением. Сегодня меня взял безумный хохот. Я представила себе — как это они ловко

устроили. Сами изобрели «заговор». Сами ведут следствие и допрос. Сами свидетели и сами назначают главных деятелей — и их расстреливают. И от того, что расстреливают, у меня так болит голова. Ведь хоть бы одного «заговорщика» убили, а то ведь невинных, невинных. И «малых сих», совсем «малых сих».

Как убедить их, что заговора не было. свержения не было. . . Я начинаю думать, они убедили сами себя, и если раньше знали, что раздувают и муссируют, теперь они верят сами, что «заговор». Они ведь маньяки. У них ведь право-эсеровские заговоры пеклись прямо. как блины.

Сегодня ночью я долго не могла спать. Прочла в газетах о 13-ти расстрелянных. Александровичу приписывается главная роль. . . Он так невинно сел с Блюмкиным в автомобиль наверное потому, что и не подозревал, куда едет Блюмкин от Н . . . куда они предварительно вместе поехали.

Сама удивляюсь, до какой степени я готова к смерти. Не могу сказать, что умру сейчас со счастьем 1906 года. Это будет теперь более в деловом порядке. Но когда я думаю об Интернационале и о чистой героической линии его борьбы, то у меня загорается душа, как и в былые времена.»

19-го июля.

Они ничего не возражают. Они, повидимому, идут на встречу хорошо известному нам желанию руководящих торгово-промышленных кругов Германии наладить и развивать к выгоде обеих сторон тесные экономические отношения между ними. Вершковыми буквами, жирным шрифтом напечатаны в общем тексте и эти слова на плакате с заявлением Ленина по поводу батальона германских солдат в военной форме (без военной формы можно, сколько угодно; без формы их в Москве тысячи сейчас).

«Тесные экономические отношения» между Советской Социалистической Федеративной Республикой и кем? . . .

Торгово-промышленными кругами Германии, крупнейшими хищниками сильнейшего в мире империализма. Яростные защитники капитализма, гноящие в тюрьмах своих непримиримых врагов-социалистов, расстреливающие своих непокорных рабочих. И первые основатели Социалистической Республики, аннулировавшие займы старого правительства, социализировавшие все собственнические земли, лишившие избирательного права всех живущих на нетрудовой доход, всех торговцев, начиная от копеечных. И это печатается и распространяется по постановлению Ц.И.К., состоящего исключительно из Правительственной партии, по всей Республике. Какой цинизм. Какое презрение к массе: не поймут, авось. Проглотят эти «тесные экономические отношения», пилюля достаточно обильно смазана приторным соком демагогического пафоса. Да, конечно, по отношению к такой «революции» — от аннулирования займов к тесному содружеству с империализмом — Левые-Социалисты-Революционеры являются контрреволюционерами. И пока будут длиться эти тесные экономические отношения, левые эсеры будут, конечно, наполнять социалистические тюрьмы и умирать под «советскими» пулями.

Но власть Советов в конце концов победит, потому что власть Советов — это власть трудовых классов. А трудовые классы после октябрьской революции не позволят никаким «тесным экономическим отношениям» взваливать на себя слишком на долго империалистическое ярмо.

А. Измаилович.

М. А. Спиридонова.

М. А. Спиридонова была арестована коммунистическим правительством 6-го июля 1918 года и была в плену у него 5 месяцев, после которых была освобождена. Затем, после двух месяцев активной и гласной работы в массах, (М. А. предлагала с ней диспутировать перед лицом московского пролетариата представителям правитель-

ствующей партии, но рабочие не давали говорить ни одному коммунисту), она вновь была схвачена большевиками и брошена в условия «санаторного режима», из которого она бежала после 2-х месячного заключения. История этого побега изложена в приводимом ниже извещении Ц. К.П.Л. С.-Р.:

*Партия Левых Социалистов Революционеров
(Интернационалистов).*

В борьбе обретишь ты право свое.

Побег тов. Спиридоновой из Кремля.

Постановление Ц. К. Партии Лев. Соц.-Рев. (Инт.)

В виду того, что здоровье тов. Спиридоновой подвергается несомненной опасности от ничем не гарантированной возможности дальнейшего применения к ней того, «санаторного» режима, под которым она была от 14—15 февраля до 9 марта, и в виду того, что жизнь Спиридоновой нужна партии в ее революционно-социалистической работе, — Ц. К. Партии Левых Социалистов-Революционеров (Интернационалистов) постановляет организовать побег тов. Спиридоновой, о чем и доводит до ее сведения.

Что касается жизни остальных т. т. членов партии левых эсеров, заключенных в настоящее время в Бутырках и по тюрьмам всей России и объявленных В. Ч. К. заложниками, — то Ц.К.П.Л.С.-Р. предупреждает В.Ч.К., что она будет всецело ответственна за жизнь каждого заключенного члена партии Левых Социалистов-Революционеров (Интернационалистов).

27-го марта 1919 г.

Центр. Ком. Партии Лев. Соц.-Рев. (Инт.).

Постановление партии Л. С.-Р. от 27 марта 1919 г. приведено в исполнение 2 апреля.

Точное время выхода т. Спиридоновой из так называемого «Чугунного Корридора», где она содержалась и время выхода из ворот не могут быть приведены, так же, как и вся обстановка побега.

Тов. Спиридонову вывел (в условиях огромного риска) один из ее стражи, крестьянин Рязанской губернии, Николай Степанович Малахов, 22-х лет. Как и вся стража, охранявшая ее с 9-го марта, он был служащим В. Ч. К., что строго было приказано скрывать от нее. Чрезвычайника, подкупленного большевистским правительством в общем «чрезвычайном» порядке всевозможными льготами в сравнении с простыми красноармейцами, давно тревожила совесть за его службу, и, найдя такой повод, как освобождение тов. Спиридоновой, он решил резко порвать свое сытое житье и пошел на смертный риск и лишения ради правого дела — освобождения непримиримого борца за революционный социализм — М. А. Спиридоновой.

Он решил всячески гарантировать возможность успеха для выхода из Кремля тов. Спиридоновой и в последнюю минуту против всяких уговоров выбрал тот способ, который был уже отвергнут ею, в виду опасности для его жизни, но который обеспечивал победу.

В настоящее время т. т. Спиридонова и Малахов находятся вне опасности. Тов. Спиридонова, несмотря на свое сильно распатавшееся после «санатории» здоровье, сразу приступила к партийной работе.

3-го апреля 1919 г.

**Ц. К. Партии Левых Социалистов-Революционеров
(Интернационалистов):**

После 1 года 7 месяцев воли — работы в глухом подпольи — М. А. была вновь арестована, когда лежала больной в тифу, 25 октября 1920 года.

В тюрьме М. А. Спиридонова была все время больна.

Только в сентябре 1921 года она была, наконец, освобождена и помещена в санатории в Малаховке, под Москвой.

На воле М. А. начала быстро поправляться. Однако в последнее время состояние ее здоровья резко ухудшилось из за следующего происшествия. 11 января у М. А. был

произведен обыск. За несколько часов до него был арестован И. З. Штейнберг в качестве заложника «в виду распространившихся слухов о побеге Спиридоновой». Разумеется, все оказалось вымыслом. (М. А. едва ходит!) Ее, оказывается, «смешали с другой». И. З. Штейнберг освобожден. Товарищи хлопочут о разрешении М. А. Спиридоновой уехать за границу. Пока безрезультатно; жизнь Спиридоновой в опасности!

(Май 1922.)

Санаторный режим.

(Из тюремных писем М. А. Спиридоновой.)

«... Не преследуя в наказании цели отщипления врагам революции и не желая причинить Марии Спиридоновой излишних страданий... Московский Рев. Триб. приговорил изолировать Марию Спиридонову от политической и общественной жизни сроком на один год в санатории с предоставлением ей возможности здорового физического и умственного труда».

(Из «приговора Моск. Рев. Трибунала по делу М. Спиридоновой»).

23 февраля (1919 г.).

Думается, что на суде удастся Вам передать записку. Поэтому пишу на всякий случай.

Во-первых, не удивляйтесь, что я буду неважно выглядеть и не делайте из этого никаких выводов: мне здесь не хватало еды и у меня неподходящие условия заключения — отсутствие воздуха, тепла, спокойного сна и т. д. Обстановка намеренно мстительная.

У меня есть предчувствие, что большевики готовят мне какую-то особенную гадость. Убить меня — неловко,

закачать на много — тоже стыдно, посадить в заразные бараки, в роде Бутырки и Таганки, — это значит, тоже в неделю убить меня, и тогда из-за деклараций социалистического правительства вдруг явно для всех в огромную дыру выглянет нагло оскаленная рожа без маски Шейдемана-Клемансо-Ллойда. Кое-какие отрывки сведений, имеющихся у меня из сфер, заставляют меня предполагать что - нибудь особо - иезуитское. Объявят, как Чаадаева, сумашедшей, посадят в психиатрическую лечебницу и т. д., — вообще что-нибудь в этом роде.

Им нужно ударить морально, и они это изобретут. Или же, что невероятнее, устроят «случайный» выстрел, как в Жеблеенка летом здесь, в Кремле. Изобретательность и предприимчивость их проверены. Характерно, что с усиливающейся паникой в их кругах, с увеличением тирании, подозрительности и трусости, они морально падают все глубже, и для спасения и подкрепления себя идут на все, что угодно, только не на настоящие средства, не на предпочтение настоящих путей спасения правительства, мыслящего себя революционным и социалистическим.

Помните, в 1858 году в Париже правительство буржуазии изобрело закон Эспинаса «О подозрительных». Было приказано очистить Париж от «подозрительных». Очистили. Тот же приказ был дан в провинцию. Было велено «открыть» заговоры не менее, чем в 10 человек в каждом департаменте, замешать в него заявленных врагов империи и представить в распоряжение министра. Министр осылал в Кайену и в другие страшные места. Без суда, без следствия, не давая кому-либо отчета. Искать защиты, апеллировать, протестовать — некуда было. Могила. Правительству Наполеона III-го надо было терроризовать, показать, что оно ни перед чем не остановится. Надо было переломить всякую мечту о праве, справедливости, правде, поразить умы наглым насилием над истиной, приучить к такому насилию и этим доказать свою власть.

И сейчас делается правительством Ленина и Ко. то же самое. Прямо буквально. Изобредались пачками заговоры правых эсеров и меньшевиков. Еще работая с большевиками, сколько раз со злобой спорила с ними, что все эти «заговоры» — вранье чрезвычайных истериков. А позднее, без нас, эти «заговоры» стали уже массовыми явлениями. Изобредались (уверена теперь) сознательно, не панически мерещились, а планомерно фабриковались. Лучшим подтверждением может быть новый «заговор левых эсеров».

Ведь даже из их изложения видно, что заговора нет.

Несчастные провокаторы, бесстыдные, потерявшие даже остатки совести. Гляжу сейчас на меньшевиков, как они, наголодавшись по работе, расправляют свои крылья, печатают адреса районных комитетов и проч. и проч., и думаю, скоро будет «открыт» их контр-революционный «заговор», загремят они со всеми «районными» в Бутырки и в Таганске.

3 марта.

Пришлите мне градусник. Я себя с каждым днем чувствую все сквернее. Надо бы вылежаться, но кровать ужасная, на ней нельзя лежать с большими боком и спиной. Бок весь заложен и перешел на всю правую часть спины, значит, разыгрывается, как по нотам, туберкулез. Возмутительно, что я так скоро сдаю. Вылежать нельзя и потому, что в уборную ходить надо через всю караулку и т. д., а если лежать, то сил меньше для вставания. Это я отметила. Кровать из брусьев и спиц, без досок, матрашишко — грязная тонкая рвань, так что все врезается в тело. Я бы матрас положила на пол и спала на ровном месте, но — пол сырой (каменный) и очень холодный.

Я все время хожу тихонько и стараюсь дышать ровно, но колотья в боку не дают додыхнуть. Это обострение от промозглости, сырости и очень дурного воздуха. Здесь ночью собираются спать несколько человек, это в таком-то

закутке. Им около печки тепло и весело. Воздух — топор виснет. Я закрываю голову шубой и дышу в нее.

Больше всего не могу выносить махорки. Презираю себя я за недемократизм. Ведь раньше любила даже, но сейчас искашливаюсь.

Сил у меня еще много, но к чему же всетаки их терять последними. Хорошо, что делаете передачи. Я возмещаю едой другие недохватки.

4 марта.

Мне сегодня в газете, обертывавшей передачу, попалось «дело Спиридоновой», из нее вычитала, как приговор, который плохо тогда расслышала. Очень было занятно читать. Какие бесстыдники. . . Бухарина на моем митинге рабочие засвистали и в роде, как бы прогнали. Юренева на многих митингах гоняли или давали минутку говорить с просвистом, Смидовичу дали говорить 15 минут и все время шумели. И все эти непризнанные народные вожди и казенные ораторы, с ущемленным самолюбием, судили меня «судом праведным». Право, жаль, что я ушла из суда, стоило им ответить, нагнуться до всех «5 миллиардов» и всех прочих обвинений.

На митингах-то справиться со мной не могли — так тюрьмой, судом и чрезвычайкой думают одолеть.

И как откровенно. Те самые. . . Как же это они не догадались хоть бы чуточку прикрыться хоть маленьким фиговым листком. Нет, совсем уж распоясались, разнагишались — падать, так падать. . .

Следователь Герзон говорит о целом часе труда для вручения мне обвинительного акта и моих отказах. Это — неправда. Он пришел меня допрашивать. Я отказалась давать показания, потом мы обменялись мнениями, как бывало прежде между заключенными и либеральными жандармскими ротмистрами, т. е. спорили зуб за зуб по общим вопросам, и больше ничего. Об обвинительном акте не было и речи, да и не могло быть, так как еще не были

с меня сняты показания. Отказ от показаний не значит еще отказ от участия в суде и проч.

Бухарин и другие доносчики показали на мою необоснованность, но сам же Бухарин говорил, что я предлагала на митингах «записывать», не боясь проверки. Я называла губернии, уезды, села и деревни, даже фамилии комиссаров. Называла точно те чрезвычайки, где особенно разгулялась над душой и телом и достоинством трудящихся их нанятая в коммунистическую партию продажная шпана охранников.

Я называла города, где подло с подкупам или арестами кандидатов производились перевыборы в Совет (Смидович — ангельски наивно, засадив нас в тюрьму, предлагает нам борьбу с ними в перевыборах). Я указывала ряд заводов в Москве, где творятся безобразия над рабочими и где неуважение к их воле граничит с насилием. И, говоря о раззоряемом крестьянском хозяйстве, которое *одно только может поднять и двинуть к хлебу и социализму* страну, говоря о поруганной власти Советов, о заплеванной и запутанной личности рабочего и крестьянина, о вспоротой спине мужика, о насаждении охранными комиссарами контр-революции в деревне, я действительно была «эмоциональна», я кричала «сплошным криком». Ведь это хулиганство, грабеж народа и его святых революционных прав делается не в Красновской деспотии, а в Ленино-Бухаринской, что для меня до сих пор составляет разницу, потому и «кричу». В Красновской деспотии я бы только действовала. Немудрено быть «эмоциональным», говоря о тысячах расстрелянных крестьян. Но если судиться мне с большевиками в плоскости диагнозов, лечения, медицины, то надо судить и Бухарина, пока ему не пресекли его пылкой речи рабочие, на него было стыдно и жалко смотреть. Не имея силы и таланта и, главное, внутренней правоты для ответа, он ничего более не нашел, как использование грязнейших личных инсинуаций, до

которых в свое время не унижалась другая правительственная партия (правых эсеров), пока она с честью не передала свое защитное знамя в руки другого правительства, большевистского. И как «неуравновешен» и болезненно истеричен» был редактор «Правды» Бухарин на том моем митинге. Как он расжигал страсти. Искажённое страшное лицо, красные, совершенно выкаченные глаза, сжатые кулаки, рубящие воздух, дикий визжащий голос.

Ничем другим, как «болезненной истеричностью» не могу объяснить тот режим, который в отместку Бухарин и другие обиженные и «оклеветанные» мною «видные советские деятели» устроили мне, якобы в целях излечения моего и «не желая причинять страданий».

Жалкие лицемеры и иезуиты... В своих полицейских газетах кричат о Радеке в германском плену в кандалах, а знаете ли, какую обстановку они, социалисты, создают — они, социалисты... Я бы предпочла кандалы на ногах и руках и на шее, но не мою обстановку. Для характеристики нашего Коммунистического правительства все расскажу о ней, и не потому, что не могу ее вынести.

15-го февраля, должно быть, в целях воспитательного лечения или, вернее, просто чтобы донять, меня перевели в Кремль, в караульное помещение.

Я живу в узеньком закутке при караульном помещении, где находится 100—130 человек смены красноармейцев (инструкторская школа красных офицеров, большей частью коммунисты). От караульной казармы меня отделяет одна комната. Грязь, шум, гам, свист, нечаянная стрельба, стук и все прочее сопутствующее день и ночь бодрствующую караульную казарму. Мой закуток делится досчатой, недоходящей до потолка щелистой перегородкой на 2 каморочки, очень узкие (шага два с половиной — три).

В моей — окно, в соседней — темно. Гулкий каменный свод, каменные, чуть не трехсотлетние стены и каменный сырой пол. За перегородкой двое вооруженных

винтовками, ежеминутно щелкающими курками, красноармейцев. Один (часовой) стоит неотступно у двери и часто заглядывает в нее. Другой глядит в прорезанное в другом месте окошечко, а оба вместе с добавочными посетителями (вот сейчас их всего за перегородкой пятеро), постоянно припаявшись к окошечку или щелям, жадно глазят. Для меня это основное, конечно. В Чрезвычайке, где пробыла около суток, пришлось объявить голодовку, так как больше нечем было защититься от шпионки, которую посадили прямо в камеру ко мне, а потом после спора ее и шпиона через открытую дверь, они, испуганные, наивно созерцали меня, не отводя глаз. Здесь я все думала, что это временно, что я пересилю себя, перемогу, но, оказывается, это система. Чья... Бухарина, Смидовича, Свердлов? Не знаю, но система. И, как все централизованное, исходит, конечно, от наибольших. Я сплю третью неделю не раздеваясь и очень утомилась. Все тело в роде, как не мое. Я не могу помыться, не могу спокойно читать, писать, есть, думать, когда неотступно являюсь объектом лицезрения этих архангелов. Вы знаете, что значит для меня вообще быть объектом глядения. Вы — то знаете, что значит вообще быть в тюрьме долголетнему каторжанину опять и опять, но так с нами не поступали и царские слуги.

— «Буде» . . . говорю, — «б-у-де глазеть, как не стыдно» . . . —

«Нам приказано» . . . отвечают иногда сконфуженно, иногда нагло.

Да, раз приказано, тут уж не усовестить . . . Подсматривание и шпионаж особенно усилились, когда один из моей стражи провалил письмо от наших ко мне. Кстати, у меня почему-то пропала уверенность к этому почтальону. Уж очень ему удастся, когда у других не выходит. Потом пропажа письма от вас, положенного им для меня в условном месте. Администрация для провокации велела *положить обратно туда же*, но я разуверившись и

тщетно поискав в условные дни и не имея условной метки, потом не искала, и они убрали обратно без моего ответа. Можно думать, важнейшее государственное дело — словить Спиридоновскую записку. Теперь, когда я главное сказала и знаю, что работа не прерывалась, я могу обойтись пока без срочной переписки. С тем, к кому у меня пропала уверенность, было 4 раза. Вчера он взял у меня 4-ый раз. Риск огромный, и сделал он это против моей воли.

Я теперь категорически отказалась от его услуг потому, что если с его стороны нет провокации, то значит он всадится, а мне очень тяжела их всадка: мы не привыкли к этому. Всегда обходишься без подведения кого-либо. *)

*) Товарищам на воле достоверно стало известно, что этот «почтальон»-провокатор (Абрам Нительсон, он же, кажется, Ривкин). Из четырех писем два он действительно доставил на волю. Играл он свою роль маленького Азефа великолепно. Только при второй передаче навлек на себя подозрение у товарища, говорившего с ним, своим странным предложением придти ночью в Кремль под окно камеры т. Спиридоновой и поговорить с ней («часовые все спят, никто не увидит и не услышит») и своею настойчивостью в предложении устроить побег. Говоривший с ним заподозрил в нем провокатора, но было уже поздно: на другой день вся квартира, куда он приносил письма, была арестована, включая мать, двух маленьких детей 4-х и 2-х лет (дети остались без призора).

Другой из почтальонов — Сергей Борисов, анархист, сидит в Чрезвычайке и ждет смертной казни. Был еще один, приносил письма туда же. Насчет этого не выяснено, провокатор ли он.

Цель всей этой гнусной провокационной охоты большевиков не только изловить записки и поймать еще гуляющих на воле левых эсеров. Главная цель здесь, повидимому, другая: попытка убить Спиридонову. Они действуют двойным путем: своим «санаторным» режимом и подготовкой провокационного побега, чтобы с полным правом пристрелить Спиридонову на месте (приговорить ее по суду к расстрелу они не решаются). Надо отдать им справедливость: действуют они, как настоящие, выдержанные незуиты. За 11-ти летнюю каторгу Спиридоновой бывали случаи провалов нелегальной переписки, но категоричная администрация обыкновенно к провокации не прибегала. Правда, она тогда состояла не из «коммунистов».

После пропажи письма от наших развилось какое-то бешенство подсматривания и слежки, шушукания, инструкций, лакейства... Являются уже добровольцы. Изгадили, изжандармили хороших свежих, почти детей. Экая пакость все эти Бухарины и Ко. Ведь они губят основное в красноармейцах — их душу. Ведь сам Бухарин побрезгает шпионить, хотя на доносы уже опустился. Побрезгает же он нагайкой, розгой, шомполом пороть, хотя бы и «восставшего» против его произвола мужика. Так как же он пользуется для этого услугами малых сих, услугами этих детей с чистой и нерастленной душой. У меня перед глазами так и встают ряды наших конвойных на каторге. То же самое. И как ни верти, ни хитри, ни блуди языком «видные Советские деятели», редакторы и пр. и пр. — палачество есть всегда палачество, охранник есть всегда охранник, и жандарм — всегда жандарм.

Не этими средствами победит народ и добьется социализма.

Только вопреки им победит.

Для характеристики лицемерной заботливости большевиков о моем здоровье — добавляю о внешней обстановке моей «санатории».

Печи в моей комнате нет и она прогревается через перегородку. Студь, конечно. А когда начинает прогреваться, то сырость с окна требует тряпок, углы стен и потолок и пол в углах и под столом отмокают мокрыми пятнами и вся камера, как разрисованная.

Меня все время, конечно, лихорадит и я кашляю от этой дикой камеры и от непривычной махорки, которая тянется к окну видной глазу дымкой, кашляю от чада и дыма печки, у которой своеобразное устройство и она чадит, дымит и дает угар.

После топки — часы сижу у стола или пробую лежать на своей совершенно невозможной, стильной ко всей обстановке, кровати, пытаюсь преодолеть угарное стучание

молоточков в виски, сердцебиение и проч. отравление. Это почти ежедневно.

Справлялась о прогулках — ответили отказом.

Справлялась о газетах — отказом. Кое-как добилась мыла.

Почему нет свиданий?

Теперь я ни о чем не справляюсь. Пусть их.

В уборную меня должен водить часовой. Она гармонирует вполне с общим стилем и тоже со щелистой перегородкой, высотой в свою дверь. За дверью стоит мой часовой. Идти в уборную надо через неистово глазающих всех солдат караульного помещения, вместе с ними, бегущими тоже в смежную большую уборную со стеклянными дверьми. Так что я, кроме того что живу почти в одной комнате с 2-мя—4-мя чужими мужчинами, вообще то делю жизнь и всю прозу ее со 100 красноармейцами.

Смена бывает каждые 2 часа. Посещение еще всяких разных ежеполчасны. Стерегут. Ночью грохот двери, громкий разговор, бряцание и глядеж в дверях на меня, лежащую под своей шубкой, каждые 2 часа, час, полчаса. . .

Так не делали с нами и на каторге.

А мелочей, бесконечных, постоянных — не передать. . .

Бухарин, Ленин, Троцкий могут быть довольны. Они отпущены. Но они не понимают, что таких противников, как я, они могут, если хотят, мучить или убивать, но не унижать мелочами. Это позорно и подло.

Нечего и говорить, что специфические цели охраны от побега вовсе не обуславливают необходимости подобной обстановки. Я сидела у них не в этапной и чехо-словацкой, а в нормальной обстановке 5 месяцев и не убежала. У меня была одиночка. Латыши у меня спали на постах постоянно, и я с открытыми окнами из коридора на двор и не пробовала уходить. Их доверие, их отношение ко мне обязывало.

Вот теперь анархист, красноармеец Борисов сидит в В.Ч.К. за письмо от меня на волю, к вам. А здесь вечная

паника, провалы, слезка. В позорной и мрачной вековой истории штыка и решетки большевикам не сгладить и не исгадить, как они ни словесничай, поэзии и красоты этого жеста, которым отмечена история всякого заключения, всякого закованного в цепи страдания, вызывающего милосердие стражи.

За это милосердие, за эту красоту душевную и святой человеческий жест сидит Сергей Борисов под ежеминутной угрозой расстрела, в руках охранников В.Ч.К.

Латыши носили мне письма в город и из города, книги и т. д. Они знали, что главное, побег от таких, как они, я не сделаю. И все, что облегчает муку тюрьмы, они допускали сознательно.

Были, конечно, с отдельным хулиганьем из них случаи, что ставили меня под прицел, но это не в счет. Это было редкостью (раз 5—6) и потом это была только угроза смерти, а не длительная система измывательства над свободной личностью живого человека.

Если оскорбленные «видные Советские деятели» (я вспоминаю парижские сатирические журналы времен революции, их язык и его колоритность почище моего) думают меня заморить, они ошибаются в расчетах. Царско-помещичья каторга не шутка, а ее преодолеть нашлись силы. Найдутся и здесь. Авось не заморят.

Меня даже мало занимает, заморят или нет, меня занимает, как это все-таки они могут все это проделывать и как им не стыдно. Ведь они знают, что левые эсеры — чистая революционная партия, больше их спаявшая свою судьбу с социалистической революцией, так как еще не изгадилась властью, и является только одной из сил самого движения. Они не дают этой партии работать, вышибают из Советов, арестуют и казнят, угнетают и запугивают идущих за ней и действующих в ней трудящихся. Естественны наш отпор, наша борьба с ними за свою жизнь и за жизнь революции, предательски разлагаемой ихней политикой. Они все это понимают и знают. Ведь

только под нашим хлыстом, под нашим обличением, за которое мы опять разгромлены, только из-за нас начали сдерживаться, пытаются ликвидировать хотя бы уездные охранки и т. д. Мы — совесть, свет и пламя жестоко раненной их хулиганским правлением Революции, служим своей борьбой с ними в 10 раз больше революции, чем бы служили ей замалчиванием их преступлений. Через своих шпионов они знают, что у нас нет и не было «заговора» и вот сами придумывают «заговор», громят, насильничают, собирают нас по всей Руси, мстят мелко и гнусно. Но если бы даже они ничего не знали и взаправду бы считали нас врагами Советской власти, все равно они должны бы были хотя бы изредка вспоминать, что они социалисты. Я с трепетом думаю — если они здесь, патентованные, настоящие большевики в Кремле, у себя под рукой, можно сказать в самом лоне Коммунистической партии, сами осудив, сами засадив на год, сами так со мной устраиваются, то что же сейчас продельывает маленькие трех-двух месячные большевики, эти выкидыши изуродованной Советской революции и искаженной революционной морали, всякие чрезвычайники над всей нашей лево-эсеровской братией, что они сейчас разделяют над душой и телом наших левых эсеров крестьян и других уездных работников, которых, кажется, тоже решили изъять из живой жизни и за которыми гоняются по всей России.

Опыт, данный нам в буржуазно-царских тюрьмах, надо бы большевикам догадаться употребить на то, чтобы в своих тюрьмах (если они у них есть и будут) не мучить, не увечить и не унижать Человеческой Личности, как бы ни был виноват ее носитель. Но большевики и этому не научились, поэтому все глубже и глубже завязают в тине старой государственности и в грязи своего падения.

Я пишу вам обо всем этом не для того, чтобы вы начали в тревоге бегать по передням, хлопотать, просить.

Не надо приучать их, и без того зазнававшихся самодуров, к ползанию на брюхе перед ними. Пусть... Если увижу, что утомлена уже сверх меры и терять все равно будет уж нечего, то я приму меры, обычные у политических заключенных для отвоевания себе возможности хотя бы свободного дыхания.

Надо нам начинать заново отстаивать свою личность в тюрьмах и создавать традиции.

Интернационалистов, как мы, сторонников власти трудящихся, а не власти партии, еще долго будут томить по тюрьмам соглашательские правительства всех мастей.

Мы положим начало и этому новому составу тюрем и борьбе в них за человеческий режим.

14 марта.

9-го марта меня перевели в Кремлевскую больницу. Совсем мне плохо стало.

Заболела я с первых дней помещения в свою конуру (14 — 15 февраля). Было адски холодно и сыро. Потом камера стала пригреваться и еще более сыреть, оттаивать. Я все крепилась, но искашлялась и от камеры и от ихней махорки.

С 4-го—5-го марта началось кровохарканье и такое обильное, как в 1906—7—8 гг. до зарубцевания. Я наклонялась к вонючей ряжке и из меня лило. Я все ходила, потому что шумело в голове и знала, что мне плохо — не хотела поддаваться.

Одна ночь была острая. Я проснулась с ощущением — вот оно. Началось. Вся подушка была полна крови, платок, полотенце. Общее замирающее состояние. Сразу вдруг чувствую, что уже я не хозяин, что «оно» пришло, началось...

Зову часового, чтобы он приподнял — нет голоса. Пробую стучать. Рука не желает шевельнуться.

Вытереть с губ, рта, щеки кровь — руки не под-
нялись.

Сколько времени я так была, не знаю.

Когда рассвело уже, я нашла в себе силы и начала приводиться в порядок.

Очень было интересно. Мысли были такие особенные. Никакого возмущения, что пришла, кажется, смерть. Никакого.

Все вспоминала, чего я еще не доделала. И такая покорность в душе. Так тихо, тихо. Лежала и ждала.

Озябла я страшно тогда. К утру у меня был такой вид, что часовые вз'елись и, не взирая на протесты, просьбы мои, все же звонили, звали и вытребовали всяких своих властей и фельдшерицу. Я на все их приставания отвечала: «Мне ничего не надо».

Фельдшерица, растерянно поглядывая на зияющие, как язвы, пятна на стенах, на всю обстановку, говорит: «Если еще на одну ночь вас оставить, вы здесь умрете».

Караульный начальник говорит:

— «Мы имеем право не считаться с заявлением больного. Больные становятся достоянием врача и вас просто возьмут на руки» и т. д.

Я перестала спорить, как ни было мне противно переходить в больницу, как бы во исполнение их иезуитского приговора.

Хотели меня положить на носилки, потому что очень мне было не важно, но это было бы уж слишком обстановочно. Понемногу оправилась и кое как доползли мы с очень большим эскортом.

Правы оказались мои предчувствия первых дней ареста.

Совсем близка была у смерти.

Здесь в больнице я почти оправилась. Дрожат руки, шумит голова, но уже есть силы. Здесь вылилось 6—8 стаканов крови. Возьму мокну в стакан кончик платка — чудесное знамя получается, яркое, алое.

Здесь как то сразу легче. Могучий у меня организм. Значит, опять зарубуется и не умру. Когда улеглось

кровотечение, меня выкупали в ванне. Чистое белье, кровать такая, что можно не только лежать, но прямо барствовать. Есть и подушка, а там маленький комок чего-то грязно-стружечного и лежать на кровати даже здоровому неловко, а больному нельзя совсем. Здесь я раздеваюсь и ложусь, как человек. Часовой не подглядывает, а стережет входы и выходы, что только и надо. Там же была паника, тенденциозный прижим.

Интересны были часовые в той моей конуре последние два дня.

Им приходилось ставить штыки в угол и укладывать меня, закрывать, подпихивать чего-либо под голову.

Сердились: «Здесь только бандита можно держать, а не токого человека».

20 марта.

Меня перевели из больницы в чутунный коридор.

В нетопленную комнату, пахнущую плесенью, с темно-красными обоями, со сводами каменными. Один раз ее истопили по настоянию стражи. Вообще не очень намереваются топить. Дрожу, конечно, но камера нравится. Пол деревянный. Третий этаж. Камера длинная, узкая. Ходить хорошо, шагов 9—10.

Сегодня вымерили окна. Будут делать решетки.

Значит, вместо санатории они на год приспособляют одну из кремлевских комнат под тюрьму. Очень остроумно.

Выписал меня из больницы доктор «коммунист» и настоящий тюремщик. Фамилия его что-то в роде Опокова. В больнице, когда он заставлял меня пишущую, сейчас же делал замечание страже:

— «Вы смотрите, чтобы записок не писала и не передавала» и т. д.

Он выписал меня из больницы потому, что ему нужно было поместить в мою комнату свою родственницу. Я заявила ему «протест».

— «Если меня помещают в ту же конуру, куда са-
жали раньше, то я заявляю протест и прошу запомнить».

— «Меня это не касается, куда вас поместят».

И сразу побежал к коменданту:

— «Когда же вы возьмете от меня Спиридонову!» ...

Раньше меня лечила женщина - врач. Та была
только врачом, но она уехала.

Как характерно, что врачи, и те — папусы...

М. Спиридонова.

Спиридонова в тюрьме.

Письмо А. А. Измайлович.

Меня привезли к больной Марусе из Бутырок после
года моего сиденья у большевиков, 27 октября 1920.

Она была арестована в ночь под 26 октября, больная,
в тифу. Арестовали также и Б. Д. Камкова, дежурившего
эту ночь у ее постели. По его словам ночная облава была
грандиозна. Очевидно, квартиру М. в точности не знали.
И прежде чем найти именно ее, врывались в несколько
квартир в этом огромном доме (Тверская 75) и поднимали
с постели нескольких перепуганных до смерти обыватель-
ниц квартир с заявлением? «Вы — Спиридонова». С бом-
бами, наганами, как на хорошую шайку бандитов.

Дело было не в одном тифе. Начиналось уже осложне-
ние на нервной почве, вызванное, вероятно, невозможным
поведением больной в начале болезни. Уже нося болезнь
в себе (дизентерия, за ней сейчас же брюшной тиф), в
39-ти, а потом и 40-ка градусном жару она участвовала в
долгих партийных заседаниях, писала статьи и, чувствуя,
что заболевает, спешно сдавала шифры, адреса и пр. това-
рищам.

В нормальной обстановке это осложнение, б. м., про-
шло бы очень быстро — в месяц, два. Арест и тюрьма,
хотя и позолоченная, сделали то, что болезнь тянется и
прогрессирует уже 9 месяцев.

Меня привезли из Бутырок по требованию Бориса (Камкова). Его выпустили дня через 2—3 и позволили свободно посещать М. в любое время дня и ночи.

Первые месяцы вообще наши тюремщики были необычайно любезны. Не прибегали к насильственным переводам с одного места на другое, пускали Бориса, давали свиданья и другим товарищам (Каховская, Богоявленская). С месяц продержали в Марусиной квартире. Стража — человек 5—6 чекистов — держали себя в высшей степени корректно, всячески старались, чтобы больная не видела и не слышала их. Мы с Борисом ничего не говорили с М. об аресте, да она и сама никогда не разговаривала об этом. Вообще, она почти постоянно молчала, стиснув зубы, а если говорила, то всегда шепотом и от других боялась громкого голоса. Она все время жила своей внутренней больной жизнью, своими кошмарами, вне действительных условий. Но основное в ее кошмарах было одно: неволя, тюрьма, сознание творящихся насилий над другими и над ней. Ее окружают постоянно то царские жандармы и казаки, то ленинские чекисты. Их образ принимали приходящие к ней доктора. Мы с Борисом становились, приводя их, сообщниками тюремщиков в ее глазах, предававшими ее.

В таком состоянии привезли ее, с нашего согласия, из ее квартиры, в лазарет В. Ч. К. (для сотрудников, а не для заключенных). Внешние условия здесь были лучше, чем в ее комнатухе.

Самый перевоз сильно встревожил ее. Главным образом, вероятно, автомобиль, связанный уже с впечатлениями предыдущих арестов и поездок в суд и из суда. Первое время на новом месте ей стало гораздо хуже. Ночи проходили в сплошных галлюцинациях.

Мы с Борисом старались изо всех сил создать ей впечатление воли. Он уходил, приходил, мы мирно разговаривали около нее, старались смеяться, читали вслух, ели, пили чай. Он оставался часто ночевать. Заходили на

короткое время Ира Каховская, потом Соня Богоявленская — живчик, молодая, веселая, способная распеvelить покойника. К Соне М. не могла привыкнуть, но приходы Бориса и Иры действовали на нее заметно благотворно. Не принимая сама участия в наших беседах, она любила зайти около и смотреть на нас. Лицо становилось спокойное, из глаз уходило постоянное выражение тоски или ужаса. После трех месяцев почти сплошь бессонных ночей, подвергавших нас с Б. в немалое изумление, — как может существовать человек, почти не подкрепляясь сном — стала спать часов 5—6 в сутки. У нас явилась надежда, что болезнь уйдет, лишь бы только нормальные условия, прежде всего воздух, движение (тут ни о каких прогулках речи не могло быть, как и в ее квартире, и мы безвыходно просидели в четырех стенах больше 7-ми месяцев.

В феврале начались разговоры об освобождении М.; Бориса вызывали в В. Ч. К. и показывали уже бумажку об освобождении (по болезни) ее и меня. Дело было, якобы, только за чьей-то подписью, чуть ли не Самсонова, который болен и не может подписать. Я отправила тогда уже почти все книги и белье на квартиру Богоявленской.

Весь февраль дурачили нас с освобождением. В марте же вышло «как раз наоборот». Напуганные, очевидно, Кронштадтом, коммунисты стали хватать всех, кто не присмыкался перед Чрезвычайкой. Один за другим были арестованы посещавшие нас — Борис, Ира, Соня. Об освобождении М. замолчали совершенно. «Где у нас гарантии, что она не выздоровеет по освобождении». Так могивировал оставление больной в тюрьме Дзержинский.

Три месяца прошли у нас в абсолютной замкнутости. Маруся стала хуже, беспокойнее. Наступавшая весна, потом лето, доходившие до нас только из узкого шумного переуллка, подчеркивали в несравненно более сильной степени, чем зимой, нашу тюрьму. Мне, человеку здоровому и физически и психически, стало очень тяжело безвыходное сиденье в четырех стенах даже без получасовой про-

гулки, полагающейся даже при самом строгом тюремном режиме. Для нее же — нервно больной и туберкулезной, это означало шаг за шагом развитие болезни. Она и развилась.

4-го июня, когда я собиралась уже укладывать М. спать после ванны, от которой она гораздо лучше спала, чем обычно, меня вызвали из комнаты приехавшие из В. Ч. К. следователь Пюкенен и с ним еще какие-то и заявили, что сейчас они должны перевести нас в другое место. Я объяснила, что внезапный перевод, без подготовки больной, и помощи товарищей, которых она помнит и не боится, например, Камкова, Каховской, Майорова, может иметь очень нехорошие результаты для больной. Мне в ответ было: «Я должен это постановление привести сегодня же в исполнение».

Угрозе насилием мне пришлось подчиниться; перед лицом ее болезни нельзя было идти на это. Я была вынуждена, чтобы сломить возможное физическое сопротивление больной, дать ей большую дозу снотворного. Переезд был совершен, конечно, обычным способом — в автомобиле, что одно уже внушало ей отвращение и ужас.

Во втором часу ночи мы очутились в новом помещении — как узнала я только на другой день — в психиатрической Пречистенской лечебнице на Штатном переулке, раньше вольной, а с Пасхи этого года ставшей тюремной.

Сырая, очевидно, давно не жилая комната с наглухо заколоченными рамами (Пюкенен предупредительно заметил мне, что поднимается верх окон), с тяжелым запахом спертости и погреба, после сухой, залитой солнцем полдня, комнаты на Варсонофьевском, встретила нас очень неприветливо. Чистый деревянный переплет окна был принят М., очевидно, за решетку и она сразу же, только войдя в комнату, стала исследовать эту «решетку» и пилить ее пальцами и кистями рук, незажившими еще от «пиления» спинки кровати в Варсонофьевском в плохие минуты. Я

сейчас же ночью крошечным перочинным ножичком выставила обе рамы и раскрыла их. Она не ложилась всю ночь и в тоске металась по комнате.

В окно смотрели деревья, пели соловьи. В давно нераскрывавшийся куток наш пахуло чудесным воздухом, напоенным ароматом тополей и берез. А за деревьями мелькали шапки с звездами красноармейцев или чекистов, то с винтовками, то с револьверами. По временам, и ночью, и днем, раздавались шальные выстрелы. С утра до ночи, первую неделю, кричал, пел и ругался один сумасшедший. М. стала бояться окна и двери и прятаться в самый темный угол при входе докторов.

Но не только так реагировала она на новую обстановку. Она наотрез отказалась принимать пищу и даже пить воду. Все мои уговоры, мольбы, упреки, все мои хитрости (я раставляла еду на всех концах комнаты), ничто не действовало. Она не объясняла мне почему не ест. Только шептала о чекистах и жандармах, которые везде кругом, — и за дверью, и за окном, и даже в комнате за креслом и столом.

Я была в совершенном отчаянии. Доктора стали говорить об искусственном питании. Это было бы гибелью для нее. То главное, чем она больна, ненависть и ужас перед насилием, достигло бы перед этим действительным актом насилия таких размеров, которых бы она не выдержала даже физически. Сыграла бы здесь роль и ассоциация этого акта насилия со всеми теми изощренными издевательствами, которые она перенесла в 1906 году от царских жандармов и казаков. Я наотрез отказалась от применения искусственного питания.

Ища средств ее спасения, я схватилась за одно: м. б. Борис, бывший около нее вместе со мной около четырех месяцев ее болезни, сумеет повлиять на нее и она будет есть. 9-го июня в конце пятого дня ее *сухой* голодовки, я написала в В. Ч. К. о желательности привоза Бориса.

В этот же день вечером его привезли из внутренней тюрьмы В. Ч. К.

Она узнала его и хорошо отнеслась к нему. Но... наша цель не была достигнута.

Упорно, с сознательностью, как будто, совсем здорового человека, она продолжала не есть. На пятый-шестой день она стала сильно слабеть. Лежала неподвижно с исхудавшим лицом и застывшими в выражении тоски и ужаса глазами, часто хватаясь за сердце. Спала часа 3—4 в сутки. Пульс отбивал 120—130, доходя при появлении врачей, путавших ее, и до 160. Я стала класть ей днем и ночью холодную мокрую тряпку на сердце, что давало ей заметное облегчение.

Борису удалось два раза вытащить ее в садик, когда она особенно тосковала. Итти она уже не могла, он вынес ее на руках и положил в саду на скамейку. Но она пролежала с закрытыми глазами и вся тряслась мелкой дрожью. Был теплый вечер; другой раз тоже теплое, очень раннее утро. Потом этого нельзя было повторять — ей видимо трудно стало даже ворочаться в постели. На седьмой день голодовки (сухой, что нас особенно пугало), мы послали заявление в Президиум В. Ч. К., требуя единственной меры, которая может спасти М., ее немедленного освобождения.

Ответ на это заявление был замечателен по цинизму. На другой день меня вызвали во двор, где за столом торжественно сидело два представителя В.Ч.К. (женщина-врач — Файнберг и следователь Козловский) и несколько врачей лечебницы. Старший врач прочел мне адресованную ему бумажку, подписанную членом Президиума В.Ч.К. Самсоновым и предложил мне на ней расписаться. В ней предлагалось старшему врачу лечебницы применять искусственное питание к «Онуфриевой» (Чрезвычайка упорно ее звала здесь Онуфриевой, скрывая от врачей ее настоящее имя — это был, конечно, секрет полишинеля) только с согласия ее партийной опекуни Измайлович,

возложивши ответственность за тот или иной исход на Измайлович.

Я не ограничилась только подписью своей фамилии, а выразила свое отношение к любезному отношению Чрезвычайки.

Пока я писала, около меня за столом шел мирный разговор между чекисткой-врачем и здешними врачами об устройстве амбулатории и еще о чем то мирном и будничном. Передо мною вдруг встало далекое, казалось, забытое впечатление. Я в круглой башне Минской тюрьмы, приговоренная к смертной казни, читаю газету, проникающую ко мне через все тюремные заставы и запреты. Это была эпоха расправы царского правительства с революцией 1905 года. Каждый день газеты говорили все о новых и новых казнях и каждый же день эти газеты на четвертой странице щебетали о спектаклях, операх, балетах. И таким диссонансом веяло в душу от сопоставления щебетания и мартирологов, что душа отказывалась верить. И сейчас такой же диссонанс ударил по мне. Умирает тут, в нескольких шагах, человек, вся жизнь которого было служение революции. Чиновники читают ее смертный приговор мне, самому близкому ей человеку, и любезно предлагают расписаться, что это не они, а я убиваю ее. А в ожидании моей расписки равнодушно толкуют о своих текущих делах.

Я написала приблизительно следующее: «Катастрофически тяжелое состояние больной М. А. Спиридоновой по глубокому убеждению нас с т. Камковым, наблюдавшим весь ход развития ее болезни, может быть изменено только радикальной переменой обстановки, т. е. свободой, т. к. основными причинами развития ее болезни является сознание ею насилия, неволи, тюрьмы. Применение к больной насильственного питания вызовет несомненно ускорение ее гибели и увеличит ее мучительность в связи с пережитыми ею насилиями от царских казаков и жандармов, сливающихся в ее больном сознании с чекистами. Предостав-

ление мне выбора — применять насильственное кормление или нет совершенно равносильно предоставлению мне выбора *способа* смертной казни над больной. Решительно отказываясь от применения искусственного питания и выбирая способ казни более замедленный и менее мучительный, я еще раз указываю, что смерть Спиридоновой всецело ложится на теперешних вершителей судеб России.» И устно поблагодарила их «за своеобразный либерализм, возвращающий нас ко времени Сократа, когда приговоренному к смерти предоставлялся выбор способа казни.»

После меня пошел Борис. Возмущенный цинизмом их бумажки, он разразился там целой речью. Опять аналогия. Как при царизме во время последнего слова революционера на суде чуть не каждые три минуты меняли караул в зале суда во избежание его «разложения», так и сейчас, когда Борис говорил громко и возбужденно, отсылали дальше всю бывшую около стражу и больничных служителей. Он назвал невероятным цинизмом факт сложения ими ответственности с себя на голову человека, самого близкого больной, к концу измученного, который, быть может, не в состоянии будет перенести смерти Спиридоновой. Обрушился на врачей, что они подчиняются полицейским указаниям на счет искусственного питания.

— «Я принимаю Ваш вызов — заявил старший врач — Ваши аргументы имели бы основание, если бы дело шло о здоровом заключенном: вопрос касается душевно-больного человека, который убивает себя голодной смертью, находясь в бессознательном состоянии, и здесь медицина требует применения насилия.»

— «А если, — сказал Б. — Вы теперь уже познакомились с конкретной обстановкой болезни, с основной ее причиной, познакомились с историческим прошлым этого больного, со всеми его сломившимся в результате тягчайших испытаний характером, если я Вам уже сказал, что даже на царской каторге она была «неприкосновенной», и что теперь главный пункт ее болезни является тюрьма и

насилие над ней. . . Вы и теперь будете говорить только об одном целебном средстве — клистире из желтка. . . Отвечайте . . ., отвечайте. . .»

Врачи сидели молча, опустив головы.

Чекистка — врач Файнберг начала:

— «Мы как врачи. . .

— «Вы не врач, а чекистка. Как вы смеее присваивать себе честное звание врача. Вы на все можете смотреть только с точки зрения охранки, а не с точки зрения интересов больного. Но я спрашиваю Вас, всех остальных. Где ваше гражданское мужество. Где оно, не оставявшее Вас в годы царского режима. Вы тогда умели защищать больных и не подчиняться охранке. А сейчас Вы сидите, как напуганные щенята и допускаете ничем не прикрытое убийство. . .»

Борис ушел, потом с полдороги вернулся.

— «Дайте мне ответ Измайлович. Я тоже хочу подписаться. Это Ленин убивает Спиридонову. Пусть знает, что мы это знаем.»

Вернулся оттуда бледный, с горящими глазами. Какое состояние невыразимой муки смотреть, как час за часом, день за днем уходила жизнь из нее. Смотреть и ничего не быть в состоянии сделать, чтобы остановить угасающую жизнь. Для меня особенно ужасны были ночи. Когда она засыпала на час, на два, я начинала сомневаться, жива ли она, дышет ли, тихо подкрадывалась к ней, слушала ее дыхание. Исхудание в лице остановилось. Начались отеки лица. Глаза стали совершенно сознательными и с любовью и лаской глядели на нас с Борисом.

И *ничего* нельзя было сделать. . . Наши уговоры не могли поколебать ее очевидной решимости умереть. Дать знать на волю, чтобы оттуда потребовали ее спасания, не было никакой возможности: крутом нас были или чекисты, или шпики, или провокаторы, или необычайно трусливые человечки. По двору — мимо нашего окна — ходили

только двое больных и оба, как я очень скоро узнала, отделенные от остальных, т. к. их все заключенные били: один — бывший чекист, попавшийся в воровстве, другой — белогвардеец, искалеченный, подобно многим другим жертвам, чрезвычайными допросами до полной потери человеческого облика. Около нашей двери дежурили несомненные чекистки, заводившие со мной и Б. провокационные разговоры и высказывавшие утрированные знаки сочувствия нам и возмущения правительством. Еще до Бориса, в безвыходном отчаянии, я рискнула послать все таки очень мало надежным способом на волю письмо (без адреса, с просьбой передать кому-нибудь из левых эс-эров, максималистов или анархистов). Как я узнала позже, письмо это провалилось.

Слежка была поставлена на редкость. На прогулке, когда мне удавалось выходить в сад, во всех, очевидно, нарочно сделанных, круглых дырочках в деревянном заборе, то и дело встречаешь наблюдающий глаз, слышишь заглушенный шопот (они хотят быть невидимыми и неслышными). Нервирует это ужасно. Как будет себя чувствовать М. в этом шпиговском месте, она, боящаяся дверей, окна, замочной скважины, если только она будет когда-нибудь выходить на воздух, не знаю совершенно.

На десятый день голодовки Борису удалось таки дать М. выпить глотка два чаю. Это было уже началом победы. Очень мало, раза два в сутки — она стала пить. Но наша попытка дать ей выпить чаю со взбитым желтком, не удалась и вызвала гнев и отказ вообще от питья. Пришлось быть осторожнее с хитростями.

На 12 день голодовки, 15 июня, Бориса взяли, внезапно, обманом. Вызвали за дверь, а минут через 5 пришли ко мне за его курткой и папиросами. Как будто в комнате умирающей мы стали бы строить баррикады и не давать Бориса. Внезапное его исчезновение, без слова прощанья с М., произвело на нее удручающее впечатление. Она дня два искала его глазами и своим слабым шопотом звала

его «Борис, Борис...» Мне нельзя стало выходить из комнаты дольше нескольких минут, она впадала в тревогу, что меня тоже возмут, что меня взяли. Доктора говорили, что она уже умирает.

На 14 день, вечером 17 июня, когда М. уже совсем ослабела, я, глоток за глотком, влила ей в полуразжавшиеся зубы с полстакана чаю с желтком. Она проглотила с закрытыми глазами. Я быстро сделала такую же порцию и повторила тот же маневр.

Я так и не знаю, что это было: — результат ли ослабления воли в связи с физическим участием организма, или же инстинкт жизни пробил себе дорогу пока в форме изменения ее первоначального внутреннего решения. Вернее последнее. Об этом говорят первые дни, когда она начала есть. Получилось такое впечатление, как будто в ней происходит борьба между старым решением и новым импульсом: так неохотно она начала принимать пищу, с такой видимой внутренней нерешительностью. Первые два-три дня она ела не больше одного раза (1-2 яйца в сутки, стакан-полтора чаю и больше ничего). Но удивительна выносливость ее организма. После 13 дней, 8 часов голодовки, из которых 10 дней были сухой, пребывая еще в состоянии полуголодовки — по 1-2 яйца в день — она уже оделась, встала, заходила по комнате, правда, гораздо медленнее, чем раньше, с громадным видимым трудом.

Я упомянула, что в последние дни голодовки ее глаза стали необыкновенно сознательными, как будто она перестала отсутствовать из окружающей жизни, вошла в нее сама. У меня явилась надежда, что м. б. эта физическая встряска организма послужит толчком, который вернет ей сознание действительности.

Надежда эта не осуществилась. Но я не ропщу на судьбу. Могло быть гораздо хуже, она могла умереть. Она осталась жить. Наступит же момент, когда оживет и сознание. Все доктора говорят, что при надлежащей обстановке, т. е. при свободе, болезнь может и даже должна

пройти. Но они, как и мы, учитывают, что условия, являющиеся причиной развития болезни, упорно и постоянно продолжают свое губительное действие.

Сейчас, когда я пишу, прошло уже полторы недели после конца голодовки. Ничего утешительного я не вижу в ближайшем будущем. М. находится в почти постоянном состоянии тревоги.

Шальные выстрелы, время от времени раздающиеся где то около нее, вызывают у нее мысль, что где то здесь рядом расстреливают. Она рвется на помощь к расстреливаемым. А когда я не пускаю ее, упрекает меня, что и я, как все кругом, прячусь от трусости. Пустить ее — она не посмотрит ни на какие двери и пойдем все дальше, пока не напорется на штык или ногой ленинских чекистов-тюремщиков. И я не пускаю, а она мечется, разбивает себе руки в кровь об дверь и раздражается против меня.

На прогулку в садик, примыкающий почти непосредственно к нашей комнате, вытащить ее невозможно. А наша комната, если не выходить на воздух, сырая и промозглая не дает здоровья ни для тела, ни для души. Она видимо чахнет. Я опять, писала в В. Ч. К. о приезде Б. Камкова для помощи мне, в частности с прогулкой, говорила и устно с Самсоновым о необходимости создания хотя бы известного минимуму подходящей обстановки для больной (приезд время от времени хотя бы заключенных товарищей, если им уж страшны сношения наши с волей и пр.). Но они видят в М. только опасного политического противника, они опираются на то, что мы члены враждебной им партии (таково было заявление Самсонова: «на войне, как на войне» и т. д.). Болезнь же игнорируют и выходит позорное дело сведения счетов с душевно-больным человеком.

Совершается что то неслыханное вопиющее. Наверно такого не было ни у Деникина, ни в Венгрии. Вряд ли даже и там надругивались над *психически-больными*. В течение почти года происходит истязание живой

души человека, по рукам и ногам связанного своей болезнью, незащитного против их экспериментов над ним. В больном мозгу, тюрьма, слежка и гнет удесятеляются и воспринимаются с острым страданием. Они знают из бесчисленного числа консилиумов и ежедневного наблюдения врачей, как серьезно больна М., какая пытка для нее тюремное заключение, — и намеренно оставляют ее в этих условиях. В этом, в революционном все же упорстве, с которым М. не принимает их гнета, они, как будто, видят оскорбление себе и резко меняют условия к худшему. Повидимому они таки хотят добиться мучительного конца и весь вопрос для них состоит только в том, чтобы обо всем творящемся не узнали на воле. В этом отношении они предприняли чудеса изоляции. Они любят душить, но душить в *тихомолку*. Теперь они всячески хотят разделаться со мной, опасной для них свидетельницей всего происходящего. Об этом говорит вчерашнее посещение.

Явилось двое — Козловский и еще какой то чекист, повыше его, очевидно, чином. Говорил последний, требовал у меня чего-то в роде подписки или устного честного слова в том, что я не буду нарушать требований изоляции, как нарушила уже их «непосредственным путем и косвенным» («непосредственно» это, конечно, провалившееся мое письмо здесь в первые дни; «косвенно» же думаю, по некоторым несомненным признакам — сделанная мною карандашем во время прогулки на коре березы подпись «М. Спиридонова, А. Измайлович, члены п. л. с.-р.» за день до их приезда (кстати кора эта уже сорвана охранниками), затем мое упорное называние М. докторам не «Онуфриевой» а Спиридоновой. (До чего завалены работой эти труженики, спасающие Россию и мировую революцию! Каждое дерево, каждую скамейку им надо осмотреть и выскоблить после прогулки арестанта и взять с него расписку, что он не повторит своего преступления). В противном случае без таких гарантий они принуждены будут взять меня от

больной и заменить кем-нибудь другим, например, Каховской.

Это второе их требование от меня расписки по своему цинизму достойно первого, когда я должна была доставить им письменное доказательство, что не они, а я являюсь убийцей М.

Что я могла сказать на это, кроме следующего:—«Никогда, ни при одном правительстве заключенные революционеры не входили со своими тюремщиками в договоры о том, что они, заключенные, будут сидеть тише воды, ниже травы, что они отказываются называть черное — черным, позорное — позорным и т. д. Не может быть даже речи о каких бы то ни было гарантиях. Что же касается того, что они хотят меня взять от больной, то пусть знают, что это может убить ее. Никакие замены не дадут ей того, что даю я, 15 лет прожившая с ней почти неразлучно. Нужно не брать меня, а привести кого-нибудь из товарищей, чтобы создать минимально подходящую обстановку для улучшения состояния больной.»

До чего же дошли эти всеисильные тюремщики и охранники! Как должно быть запугана, раздавлена, в железо скована вся страна, как должны быть они развращены этой молчаливой покорностью, чтобы могло даже в голову прийти им обращаться с подобными требованиями к находящемуся у них в плену революционеру:

Пока я не знаю, что это было — предостережение, угроза или уже объявление мне открытых военных действий. Ира, конечно, отказалась, по словам говорившего со мной, ехать сюда, не получив предварительно моего согласия на замену. Я жду всего. Замены меня санитаркой-чекисткой и, значит, подвержения М. таким пыткам, с которыми не сравниваются испытанные ею в 1906 г. физические мучения от царских агентов. Будет невероятное утонченное ежеминутное насильничество чужого, грубого и враждебного человека, и, с огромной саморазрушительной силой и настойчивостью, противоборство М. этому насильничеству.

И если царская каторга не доканала ее, то теперь это будет с успехом достигнуто.

29. VI. 1921.

А. Измайлович.

P. S.

Освобождение Маруси. Как только приехал я в Москву (в конце августа 1921 года), я начал хлопотать об освобождении Маруси и других товарищей. Вряд ли можно себе представить что-либо мучительнее и оскорбительнее разговоров об этом и с чекистами и с коммунистами партийными. И уговаривал, и доказывал, и грозил. Говорил, что мной разосланы уже письма о Марусе социалистам всех стран и что они ждут только сигнала, чтобы повести борьбу за ее освобождение во Всеевропейском масштабе.

Проходили мучительные недели. Вести из «больницы» были все тревожнее. Наконец т. Штейнбергу прислали письмо от И. Каховской, переданное ею в официальном порядке, в котором она согласилась от имени сидящих на то, чтобы товарищи на воле приняли условия Ч.К., т. к. Маруся умирает. А условия были самые подлые. Т. т. Баккала и Штейнберга заставили подписать бумажку о том, что Маруся не будет заниматься политической деятельностью. Боялись ее даже на смертном одре. «Может выздороветь», цинично заявлял мне следователь.

Только в последнее воскресенье сентября, решили освободить Марусю и дать нам возможность поместить ее в санаторий в Малаховке. Вместе с нею освобождается на честное слово и Саня (Измайлович) — всего на две недели: потом заменяют Каховской.

Утром в день освобождения к Марусе привезли Иру (Каховскую) и Бориса. Они подготовили ее, как могли, к перемене. Когда, часа в четыре, я зашел в ужасную келью Маруси — она, уже одетая, сидела на постели. Меня не узнала и очень испуганно посмотрела в мою сторону (узнать меня и вообще было трудно без бороды и усов).

Ноги распухли. Цынга в последней степени. Кровохарканье только что прекратилось.

До Малаховки далеко — везти по железной дороге было бы почти безумием. Да еще до вокзала на извозчике.

Я звонил по всем инстанциям, прося автомобиля. Мне всюду отвечали, что автомобили за город даются лишь для «оперативных» целей.

Воскресенье.

Никого не добиться из тех, кто поважнее.

Следователь куда-то спешит. Наконец, милостиво соглашается довезти до вокзала.

Сели втроем.

Бориса и Иру — не пустили с нами, хотя и обещали мне позволить Борису проводить Марусю до вокзала. — Они остаются, их сейчас поведут в тюрьму.

Я чувствую, что Маруся меня не узнает. Вдруг что-то прояснилось в ее измученных глазах. — «Я слышу голос Саши Ш.» — сказала она. — «Да, да это он», обрадовалась Саня. Но это только минутка, потом опять глаза потускнели; кажется, опять немного боится.

Около самого вокзала автомобиль испортился. С мучкой пересаживаемся на извозчика.

Трясет.

Маруся видимо страдает, но молчит и даже рада. Чекист остался с автомобилем, мы одни. «Воля, воля», шепчет Саня на ухо Марусе и почти счастливая улыбка озаряет черные круги глаз. Тряска, шум.

Кто-то вдруг отделяется от толпы, подбегает к нам. Какой-то крестьянин. «Маруся, Саня родимые!» — узнал. Быстро целует руку Маруси и исчезает в серой мешечной массе.

Наконец приехали. Опоздали на поезд. Нужно два часа ждать следующего. Прошу пропустить на платформу — объясняю кто. Не пускают.

На узлах сидела Маруся у закрытых ворот. Сзади огромный хвост — очередь на «вход» к поезду. Увидев

мирную обстановку — узлы, мешки, детей, женщин — Маруся успокоилась, даже чуть-чуть дремать начала, прикурнув к воротам.

Сопровождать Марусю и Саню должна была т. А. М-ая.

«Маруся, дай руку, попрощайся» сказала Саня. Я наклонился, чтобы поцеловать эту восковую руку. Тут только Маруся узнала меня совсем — привлекла, поцеловала. «Саша» — «Да, да конечно». — «Приезжай милый...» Всем стало веселей и все почувствовали: на воле выздоровеет Маруся.

Извозчик, привезший нас, слез с облучка. Проводил длинным взглядом. Без шапки. Привычный жест: перекреститься — оглянулся, отдернул руку — только пробормотал: «Спаси ее Господь!».

Москва, октябрь 1921 г.

А. Ш.

По казенной России.

(Подвиги большевиков на внутреннем фронте.)

Заклученные в Бутырках социалисты и анархисты время от времени, помимо обыкновенного произвола, часто переживают кошмарные моменты.

Так, год тому назад вооруженные винтовками, револьверами и бомбами чрезвычайники - латыши ворвались на 15-й коридор, чтобы взять 18 лев. соц.-рев. в Лефортовскую тюрьму в качестве заложников и кандидатов «к стенке» за действие партии на воле. Только на второй день латыши взяли обезоруженных товарищей.

В декабре 1919 г. во время 6-ти дневной голодовки, в которой принимало участие 120 л. с-р., истощенных товарищей с применением вооруженной силы растаскивали по разным углам тюрьмы, а комендант тюрьмы Марков под револьверными выстрелами заставлял принимать пищу, хотя и безуспешно.

4-го марта 1920 г. ночью в камеры л. с-р. ворвались вооруженные чекисты, напали на спящих товарищей и в одном белье, даже тяжело больных, вытаскивали на двор тюрьмы, сажали в автомобиль и отвозили на вокзал для отправки в восточные тюрьмы — Челябинск и т. д.

Во время протеста, помощник коменданта Попкович стрелял в старую революционерку-террористку А. А. Измайлович.

12-го августа с. г. члены партии правых с-р. должны были объявить голодовку, требуя перевода из ужасного застенка особого отдела В.Ч.К. в Бутырки арестованных членов Ц.К. партии Гоца, Тимофеева, Веденяпина и др. Чрезвычайники решили сорвать голодовку и дать бой.

11-го августа, в 7 часов вечера было сделано нападение на правых с-р., чтобы забрать их в провинциальные тюрьмы; последовало сопротивление, в котором приняли участие л. с-р., анархисты и рабочие печатники. Началась обструкция, выламывание дверей, битье стекол и т. д.

Схваченный п. с-р. тащили по двору за ноги, били. В мужском одиночном корпусе «осаждаемые» забили двери изнутри камер, так что чекистам пришлось разбивать их в течение полчаса.

На протест больных, находящихся в больничном коридоре, и на обструкцию рабочих печатников, л. с-р. и анархистов по 12-му коридору чрезвычайники-мадьеры залпами открыли огонь.

Под выстрелы, битье стекол, стук, шум, протест всей тюрьмы, при пожаре в камере № 82, где голодающий анархист «Юзик» собрал все горючее и зажег (пламя вырывалось в окно, его вытащили потерявшим сознание), наконец, че-ка одержала победу: п. с-р. были вытащены.

О величине сражения можно судить по убыткам, — комендант заявил, что обструкция стоит 217.000 руб.

Тюремная администрация открыто говорит, что готовится новое нападение, перед которым поблещают все предыдущие. Это «новое», вероятно, будет на л. с-р. и часть анархистов. Истощенным, измученным более двухлетним заключением безоружным товарищам снова предстоит обороняться от нападающих, с ног до головы вооруженных, башибузуков-чекистов.

Инструкция для комиссаров.

«Обыск произвести внезапно, — во всех 25 камерах сразу, так, чтобы находящиеся в одной камере не могли предупредить других.

Забирать всю письменную литературу, главным образом, небольшие листки на папиросной бумаге и в виде писем.

Искать тщательно на местах, где стоят параша, в оконных рамах, в штукатурке и т. д.

Все забранные материалы аккуратно складывать в пакеты, надписывая на каждом фамилию владельца.»

В Президиум В.Ц.И.К.

Копия в Президиум В.Ч.К.

Заявление.

Мы, лев. соц.-рев. (интернац.), соц.-рев. максималисты, заключенные в Бутырской тюрьме, с негодованием клеймим политику штыка и нагайки большевистского правительства по отношению к трудящимся России, попрежнему заключающуюся в полном удушении творческой народной мысли и самодеятельности, в бессмысленном терроре по отношению к трудящим классам, к революционным социалистическим партиям, к анархистам, в применении смертной казни, отмененной не бумаге, в безграничном произволе больших и малых комиссаров над личностью миллионов тружеников. В день 1-го мая, в революционный праздник труда, мы, брошенные в большевистские тюрьмы и застенки и потому лишенные возможности действительно протестовать против установившегося «чрезвычайного режима» над трудовыми массами, как в прежние царские времена произвола и насилия, объявляем однодневную голодовку.

В Президиум В.Ч.К. и М.Ч.К.

Заключенных в Бутырской
тюрьме Левых Социалистов-Революционеров Интернационалистов

Протест:

В настоящее время в Бутырской тюрьме голодают 8 (восемь) человек беспартийных рабочих металлистов и печатников, которым М. Ч. К. своим административным су-

дом вынесла приговор о заключении их частью в тюрьме, частью в концентрационный лагерь принудительных работ на 2 года. Рабочие, не считая себя виновными перед революцией и протестуя против такого жестокого приговора М. Ч. К., объявили смертельную голодовку, требуя своего освобождения. Они голодают уже одни девять, другие семь дней и «коммунистическая» власть, называющая себя рабочей, пролетарской властью не только до сих пор не собирается удовлетворить их требования, но абсолютно не принимает никаких мер к ликвидации голодовки этих заключенных рабочих. Не входя в существо требований голодающих и справедливости предъявленного им обвинения, а равно соответствия данного приговора виновности заключенных, мы, Левые Соц.-Рев. Инт., годами сидящие в коммунистических застенках, всегда и всюду борящиеся за свободу и достоинство человеческой личности трудящегося человека, безмерно возмущены таким бесчеловечным поведением Советской «рабоче-крестьянской» власти по отношению к этим голодающим рабочим.

Мы требуем гуманной ликвидации их голодовки, объявляя при этом со своей стороны голодовку — протест против такого отношения власти к трудящимся и считаем, что не партии большевиков или ее филиальному отделению — М.Ч.К. — судить революционных рабочих.

Заключенные в Бутырской тюрьме
Лев. Соц.-Рев. Инт.

15. 9. 20.

Коменданту Бутырской тюрьмы.

Срочно.

Заявление.

В стенах Бутырской тюрьмы в нашем присутствии уже 8-й день голодают Белорусские Эсеры, предъявившие правительству требование о своем освобождении. Не касаясь существа этих требований, мы, левые социалисты-революционеры интернационалисты, возмущены тем, что правительство до сих пор не дало голодающим никакого

определенного ответа. Даже во времена царского самодержавия правительство, насквозь пропитанное бюрократизмом, никогда не издевалось над личностью заключенных идейных борцов, как это имеет место в данном случае в Советской Республике. Не сегодня — завтра голодающие должны умереть. Поэтому мы требуем от правительства немедленного принятия мер к ликвидации голодовки всеров; в противном случае, если сегодня до проверки не будет разрешен этот вопрос, всю ответственность за ее последствия перед трудящимися возлагаем на правительство, оставляя за собой свободу действий, доступных нам в заключении.

20 ноября 1919 г.

Заключенные в Бутырской тюрьме
Лев. Соц.-Рев. Инт.

•

„Да будет проклята смертная казнь!“

Тяжелые двери Харьковской каторжной тюрьмы распахиваются с резким скрипом перед нами — двумя— тремя десятками заключенных, эвакуируемых из города в виду близкой сдачи его наступающим деникинским войскам. В сопровождении конвоя нас отправляют на вокзал для посадки в вагоны.

Два—три десятка «счастливых»: Я наблюдал, как отсортировывались они в течение 3-х кошмарных часов, проведенных мною в конторе с того момента, как меня и моего товарища Вершинина подняли с коек и привели для сообщения, что Москва телеграфно предписала вывезти нас из Харькова и что, в виду предстоящего падения города — быть может, еще этой ночью — мы отправляемся на вокзал. Мы ждали в конторе и наблюдали кошмарное зрелище, как торопливо вершился суд над заключенными. Из кабинета, прилегающего к конторе, выбегал хлыщеватый молодой человек, выкрикивал фамилию, и конвой отправлялся в указанную камеру. Воображение рисовало жуткую картину. В десятках камер лежат на убогих койках живые люди, каждый — целый мир настроений, привязанностей, воспоминаний, мелькающих обрывков мыслей.

И в ночной тиши, прорезываемой звуками канонады под городом и отдельными револьверными выстрелами на дворе тюрьмы, в мерзком закаулке, где падает один убитый за другим — в ночной тиши двухтысячное население тюрьмы мечется в страшном ожидании.

Раскроются двери коридора, прозвучат тяжелые шаги, удар прикладов в пол, звон замка. Кто-то светит фонарем и корявым пальцем ищет в списке фамилию. И люди, лежащие на койках, бьются в судорожном припадке, охватившем мозг и сердце: «Не меня ли?» Затем, фамилия названа. У остальных отливает медленно — медленно от сердца, оно стучит ровнее: «Не меня, не сейчас!»

Названный торопливо одевается, не слушаются одервяневшие пальцы. А конвойный торопит:

— «Скорее поворачивайся, некогда ждать...»

Сколько привели таких за 3 часа ожидания нашего в конторе. Трудно сказать. Знаю, что много прошло этих полумертвых, с потухшими глазами. «Суд» продолжался не долго... Да и какой это был суд: председатель трибунала или секретарь — хлыщеватый френчмен — заглядывали в список, бросали: «уведите». И человека уводили в другую дверь, не ту, в которую ввели. Помню, как один инстинктивно старался попасть в ту же дверь, через какую пришел. Кажется, здесь не было сознательной хитрости: уж очень она была бы безнадежна. Просто животный инстинкт гнал его обратно в камеру, к привычному обществу тюремных товарищей. Его втолкнули в роковую дверь. А через пять минут, когда новый приведенный, по одному делу с этим упиравшимся, во время пародии на допрос, сослался на своего товарища по делу, его перебили:

— «Да, что вы о нем говорите: он уже в ямке лежит»... И жутки, и нелепы были слова о мертвом, которого несколько минут назад видел здесь живым, молящим, жаждущим жизни. Иногда, по капризу суда, приведенного миловали. Редко это бывало. Я помню 3 или 4 случая. Людей вызывали, даже не по списку, кем то на спех заготовленному, — он уже истолщился к 3-м часам ночи, — а потому только, что один из арестованных ранее на вопрос:

— «Ну, а нет ли в камере, где вы сидели, противников Советской власти», — увидев в вопросе какую-то отдаленную надежду на спасение, назвал несколько фамилий. За ними послали. Но эти обреченные «на выборку» уж очень униженно молили и клялись в том, что ничего и никогда они в мыслях против коммунистов не имели. А, может быть, у судей появилось утомление. И, может быть, даже хлыщеватый френчмен, секретарь трибунала, почувствовал, как носятся в воздухе кровавые испарения и как в первых, еле уловимых, серых тенях наступающего рассвета реют тени полтораэта расстрелянных за последние сутки.

Может быть, поэтому чаще стали из числа приводимых выделять эвакуируемых. Сюда попало несколько профессоров, какие-то спекулянты, всякие люди, неведомо, по каким признакам переведенные из категории приговоренных в категорию «заложников».

И вот мы, два—три десятка эвакуируемых, под усиленным конвоем идем к вокзалу. В предрассветном сумраке странно тих и недвижим громадный город. Чувствует, что, как и в тюрьме, только что оставленной нами, за немymi стенами не спят в своих кроватях испуганные люди. Не так остро, но и они настороженно прислушиваются к гулу канонады. А на улицах тихо. Только изредка промчится автомобиль или прозвучат шаги патруля.

Пожалуй, из всей нашей группы никто не уверен, что действительно ведут для посадки в вагоны. На лицах по-прежнему томление в предчувствии надвинувшейся смерти. А у некоторых тупая безучастность. Есть черта, за которой нервы перестают отвечать на признаки страшного. Но перед зданием вокзала все прибадривается: «значит, правда, что увозят». И в возгласе — «Здесь», которым каждый откликается на свою фамилию при переключке, перед входом в арестантский вагон, — уже звинит такая

робкая и неуверенная, и такая трогательного-человеческая надежда на жизнь.

Вагон тесный и неудобный. Коротенькие лавочки. Меня, только что перенесшего тиф, истомленного впечатлениями последних суток, это очень занимало. Мысль о неудавшемся побеге, который партийные товарищи готовили последнее время и который внезапным переводом из тюрьмы был, очевидно, сорван, все тревоги и беспокойства — отошли на второй план перед стремлением протянуть истомленное тело и забыться сном хоть на пару часов. Эта же мысль, видимо, овладела и всеми нашими товарищами по предстоящему путешествию. Повсюду, в разных углах вагона в полутьме, копошились, пристраивались измученные люди. Мне удалось найти доску. Протянув ее от сиденья к сиденью, я устроил какое-то подобие лежа. Но спать так и не пришлось. Кого-то снова приводили, распахивались двери, все население настораживалось. Но двери снова закрывались, и только что доставленные новые обитатели начинали копошиться, устраиваясь на своих местах.

Уже рассветало, когда я почувствовал, как кто-то старается примоститься рядом со мной на хитром сооружении возведенном мною. Не хотелось терять то жалкое подобие уюта, которое я устроил в своем углу.

— «Имейте в виду, товарищ», — обратился я к своему неожиданному соседу, — «что я только что перенес тиф — смотрите заразитесь.»

Но это не испугало соседа.

— «Господи, да если бы помереть от болезни» — ответил он — «я бы счастлив был. Уж вы только не сердитесь за беспокойство и разрешите лечь около вас. Около человека мне надо быть, чтобы с ним по-человечески разговаривать. Напуган я очень и тяжело мне одному»...

Было что-то глубоко трогательное в этом пожилом бордате человеке. Ему, видимо, нужно было и впрямь жи-

вого человека, чтобы рассказать о том, как напутала его жизнь. Я потеснился. И остаток ночи, прерывистым шопотом, вздрагивая при каждом шорохе, при звуке открываемой двери, он рассказывал мне свою историю, историю маленького человека, случайно попавшего под маховое колесо громадных событий. Маленький обыватель, с семьей в 6 душ, он прельстился легкой наживой и пошел на спекулятивную комбинацию, которая, в случае удачи, дала бы ему несколько тысяч, т. е. копейки по стоимости денег в до-военное время. Но то, что проходит безнаказанно крупным акулам, не удалось маленькому муравью. По доносу его арестовали. Он мог бы отпираться — улики никаких не было — и возможно, что его и выпустили бы. Вместо того он повинился, рассчитывая в простоте, что сознанием ликвидирует дело.

— «Купил соль?»

— «Купил, простите, больше не буду, и детям покажу».

— «Ага, попался, спекулянт, мародер.»

И человека, маленького и жалкого, потащили в Ч.К., как важного преступника.

За две недели своего заключения в чрезвычайке он насмотрелся страшных вещей. Поздно ночью врывались в камеру, — это было уже при подходе белых к городу, когда чекисты, собираясь уходить, принялись, по талантливому определению г. Троцкого, «хлопать дверьми» — читали список сидящих. Всем приказывали выйти, одного оставляли. И этого расстреливали в камере. А остальные в смертельном животном страхе забирались в отхожее место и слышали их предсмертный стон, и падение тела на пол.

Или было так. Через Сумское шоссе казаки прорвались к самой Чрезвычайке. Высшее начальство эвакуировалось на вокзал, низшее, видимо, более смелое, начало на-спех вершить суд и расправу. Вершили по очень простому и ясному признаку: по алфавиту. «Кто на

букву «А» — пожалуйста к стенке». Здесь же, не уводили даже на двор. Затем на «Б». К счастью для заключенных, казаки были отогнаны, начальство вернулось, и так как оно судило, видимо, не только по алфавиту, на время кровавая баня была прекращена.

Следует отметить, что вернувшееся начальство имело уже приказ об освобождении одного из арестованных с фамилией на «А». Но того было уже трудно освободить. И искусственное дыхание, которое начал ему делать один из членов Коллегии Ч.К., сконфуженный этим происшествием, никаких результатов не дало: что, что — а расстреливать в чрезвычайках умеют. Да и вообще-то устраивать человеку искусственное дыхание, когда ему в череп всадили три пули из «кольта» — занятие бесполезное. Убитого не оживили — тем дело и кончилось. Конфуз скоро прошел — не виноваты же и чрезвычайники, что у человека была неудачная фамилия — на «А».

Много других историй страшных и в то же время с каким-то налетом жуткого комизма рассказал Владимир Иванович Котомкин — так звали моего соседа.

И интересное у меня создалось впечатление. Вошел он в тюрьму жалким обывателем, типичным представителем человеческого болота, эгоистического и слепого, той страшной косной силы, которая губила и губит все красивые, одухотворенные попытки злую и грубую жизнь человеческую превратить в светлый праздник. А после двухнедельного стажа, ко времени нашей встречи, стал он человеком. Многого не понимающим еще, но проникнутым и скорбью и состраданием к людям. Раньше он видел в жизни только простое, ясное и грубое. Его представления, вероятно, дальше того, что нужно детей своих накормить, начальству повиноваться, ближнего немного надуть не шли. А две недели в чрезвычайке, в одном из кругов дантова ада, отбросили на задний план его отрывочные и традиционные представления. Лик жизни предстал пред ним во всей своей зловещей сложности. И жалел людей,

болея за них, он почувствовал себя таким напуганным. И поразительно верно он себя определил, как «испуганного человека» ...

Наступило утро. Через переплет оконных решеток в нашем вагоне мы наблюдали суету на вокзале. Бесчисленное множество людей, в большинстве советских служащих, грузились в вагоны. Поезд за поездом отправлялись в путь.

Население нашего вагона увеличилось случайным элементом. Привели какого-то комиссара, совершенно пьяного. За пьянство он был и арестован. Сначала он кричал, требуя своего немедленного освобождения и грозя всеми карами арестовавшим. Но по мере вытрезвления его гонор все больше сходил на — нет. Часа через 4 его освободили.

Привели двух солдат, арестованных при попытке сбыть на рынке свою аммуницию. Из военной тюрьмы доставили нескольких красноармейцев, сидевших за самые различные преступления.

Население вагона дошло до сорока человек. Люди лежали на полках для вещей, под лавками. А снаружи, пробравшись сквозь кордоны с той редкой настойчивостью, которая так характерна для женщин, толпились жены, матери, сестры заключенных, заплаканными глазами ловили взгляд близких людей, увозимых в неизвестную даль надолго, быть может, на — всегда, слали прощальные приветы, трогательно-лицемерно складывали кривящиеся губы в ободряющую улыбку.

Пришла семья Котомкина. Младшая дочь, любимица семьи, трехлетняя крошка, поддержанная руками матери, дотянулась до окна и протянула отцу букетик цветов. У нее перехвачены белокурые волосы красной лентой и взгляд голубых глазок ясный и наивный. Ей немного забавно, почему это отец смотрит из-за решетки, почему кругом солдаты с ружьями. Она бы рассмеялась звонко

и радостно, но отец почему-то вслипывает, целуя букетик. Мать тоже плачет. И охваченная беспокойством девочка в белом платьице начинает реветь. Выскакивает старший по караулу и кричит:

— Ну, вы там, пошли прочь. Успеете еще похоронить» . . .

Родные снаружи в страхе: вдруг, на самом деле, прогонят. Но туто расходятся. И опять идет обмен приветами. Через караульных передают еду. Принесли и Котомкину. Он возвращает пустую посуду и вместе с нею передает свой пиджак, смененный на какую-то ужасающую рвань, присланную вместе с провизией.

— «Хороший пиджак» — поясняет он на мой вопрошающий взгляд — «жалко, если со мной пропадает» . . .

Но почему, почему так мало помнят о том, что нужно пожалеть и человека, что если пропадет и человек, то этого не искупить никакими пиджаками, своевременно снятыми с него . . .

После двух дней ожидания поезд трогается, чуть ли не в тот момент, когда Деникинские части уже входят в Харьков. Кажется, это последний поезд. В нем едет Чрезвычайная Комиссия, трибунал и несколько вагонов с арестованными.

Медленно — медленно уходят назад станционные строения. Стук колес учащается, мы среди зеленого простора украинских полей. После долгого тюремного заключения грудь свободно дышет.

Но в нашем вагоне нет отклика радостным впечатлениям вольного простора, пусть даже представляющегося сквозь переплет тюремной решетки. Сорок людей заперто в клетке. Тут представители самых различных социальных положений, возраста, кругозора, профессий. Поводы, по которым они все собраны в одно место, так различны. Двое юношей в солдатском платье обвиняются в том, что отлучились из караула и убили где-то

неподалеку девушку. Красноармеец, бывший рабочий Донецких рудников, затерял по дороге служебный пакет. При аресте он пытался застрелиться. Но не повезло. Пуля из браунинга вышла на-вылет от виска к виску. Его лечили долго и вылечили. И вот повезли в «вагоне смерти». Красный курсант, арестованный за то, что попался на глаза командиру в нетрезвом состоянии. Командир воинской части по подозрению в шпионаже. Двое красноармейцев — за грабеж при эвакуации Харькова. Старик железнодорожник — как опознанный агент охраны еще во время Николая. Два дезертира, один — уличенный в бегстве с поля сражения, другой — подозреваемый. Этот арестован больным на станции. С ним его брат, мальчик, лет 15-ти, не пожелавший его покинуть. Котомкин, о котором я писал уже — спекулянт. Несколько профессоров — заложники. И десяток бородатых купцов из Изюма и Змиева Харьковской губернии — тоже заложники. Студент — техник. Гимназист, лет 16-ти, арестованный вместе с братом, теперь уже расстрелянным. Еще какие-то серые, неопределенные люди.

У всех после посадки в вагон было более или менее спокойное настроение. Порывы беспокойства подавлялись соображением, построенным, казалось, по правилам безупречной логики. Зачем было бы вывозить из Харькова, если думали расстрелять. Но двинулся поезд и в вагоне стало создаваться паническое настроение.

В одну из первых ночей, когда заключенные забылись тяжелым сном, во главе нескольких приближенных явился в вагон знаменитый Саенко. Человек с мутным взглядом воспаленных глаз, он, очевидно, все время был под действием кокаина или морфия. В этом состоянии он еще ярче проявлял черты садизма. Легенды, ходившие про него в Харькове, не расходились с действительностью. При нас, в Харьковской тюрьме, он застрелил больного на носилках — не мог дожидаться, когда тот выздоровеет, чтобы привести в исполнение приговор над здоровым.

Впрочем, лучше ли и легче ли умирать здоровым?...

При нашем товарище, рассказавшем потом этот случай, Саенко в камере заколол кинжалом одного заключенного. Когда из порученной его попечению партии заключенных бежал один, Саенко при всех застрелил первого попавшегося — в качестве искупительной жертвы.

Этот, явно больной, человек одним именем своим наводил ужас на заключенных. Весть, что Саенко — в стенах тюрьмы — заставляла метаться в предсмертном страхе громадное большинство сидящих. Все затихали. Кровавые тени реяли в воздухе.

И вот, наши вагоны оказались в распоряжении Саенки. Это одно уже не могло поддерживать бодрости. Появление его ночью со свитой, среди которой выделялся матрос Эдуард, знаменитый тем, что он дружески разговаривая с заключенным, смеясь беззаботным смехом, умел артистически «кончить» своего собеседника выстрелом в затылок, — вызвало мертвую тишину. Голос Саенко звучал надорванно — резко:

— «Граждане, отдавайте часы, кольца, деньги. У кого найду после хоть один рубль, застрелю, как собаку»...

Конечно, все было отдано. Только у меня и у Вершинина — очевидно, из уважения к революционным заслугам, — ничего не было отобрано.

Настроение у публики после первого визита Саенко сильно понизилось. Логическое построение: «для расстрела не стали бы вывозить» — перестало действовать на рассудок. И достаточно было выхватить одну жертву, чтобы с таким трудом установленное мною и Вершининым ровное настроение заключенных безвозвратно исчезло.

И первый случай пришел скоро. На одной из остановок трибунал, ехавший в соседнем вагоне, судил трех из вагона: уличенного дезертира и двух грабителей при эвакуации. Тихо было в этот вечер в вагоне. Один из приговоренных стоял у окна и глядел на зеленый простор. В его лице было какое-то тихое равнодушие: надоело, скорее

бы конец. Другой нервно ходил по вагону. Он заметно бравировал. Предложил сыграть в шашки; надорванно смеялся, но смех его падал в пустоту, не заражая никого. И тогда он затих в своем углу. Третий все повторял с жутким недоумением:

— «Боже, ты мой, да что же это такое»...

В вагоне было тихо-тихо. И чутко слушали сорок человек каждый шорох за окнами. Затем надвинулась ночь. Темнело быстро. Что думал и как чувствовал каждый из приговоренных. Как остро болью отдавался в их сердцах каждый уходящий блик летнего дня. Вот, скользнул последний луч зари, никогда, *никогда* три человека, живых сильных, здоровых, не увидят новой зари, нового солнца, радующего и освещающего жизнь. И каждый из сорока, таких различных, случайно собранных в одно место людей, так остро чувствовали жуткую бессмыслицу происходящего.

Эту жуткую бессмыслицу смертной казни понимали большевики, когда в октябре 1917 года, в светлый праздник революции, в залах Смольного они вотировали вместе с нами отмену на всегда позорного и страшного орудия царского и буржуазного террора — смертной казни. Как быстро забыли они светлую октябрьскую ночь, когда под боевое перекликанье пушек, громивших под Петроградом Керенского и Краснова, в залах Смольного восставшие и победившие рабочие и крестьяне попирали страшный призрак, вобравший в себя ужас буржуазного мира. . .

Было далеко за полночь, когда пришли за осужденными.

— «Собирайтесь с вещами».

Было слышно, как отбивал один из собиравшихся частую-частую дробь зубами. Другой, — тот, который играл в шашки вечером, — сурово сказал ему:

— «Ну, скорее, не тяни — нечего» . . .

Вышли. Звон поворачиваемого в замке ключа. И удаляющиеся шаги. И минут через двадцать — четкие

выстрелы. А в вагоне тихо. Только бредит в тифу дезертир:

— «Картошки купи, пудика два» . . .

С этой ночи расстрелы пошли усиленным темпом. Особенно в Сумах, где наш поезд простоял 10 дней. Днем трибунал судил. Вызывали на допрос. Когда приводили с допроса, первый вопрос:

— «Протокол заставили подписать.»

Это был безошибочный признак. Подписание протокола — было завершением следствия. С человеком было покончено. И вокруг него словно образовывалась какая-то пустота. Словно он перестал уже жить. Но как сильно протестовал человеческий организм против ужасной перспективы. Я не забуду, как один из двух, обвинявшихся в убийстве девушки, всю долгую ночь простоял у окна, всматриваясь в темноту, откуда он ждал появления рокового конвоя. Пытка ожиданием, так верно описанная Эдгардом По, оказалась не по силам его мозгу. Он вдруг отступил от окна и шопотом, тихим, но отчетливым, сказал:

— «Вот, вот она» . . .

И глаза, раскрытые так широко, устремились в одну точку за окном.

— «Что такое, что ты там увидел». — Спросил его товарищ.

— «Бумагу пронесли, вот она, вот» — и он забился в конвульсивном припадке.

Но снаружи не было никого. Только луч луны отражался в луже после недавнего дождя. Какой-то непомерной тяжестью, каким ужасом надо было придавить бедный человеческий мозг, чтобы ему померещился смертный приговор, написанный лунным лучем на влажной поверхности.

В другую ночь пришли за начальником Харьковского уголовного розыска, приговоренным за служебные

преступления — подлоги, хищения. Он долго не хотел идти, хватался за прутья решетки, за спинку скамьи. Саенко его ударил кинжалом. Его унесли всего окровавленного, кричащего диким, животным криком. Говорили потом, что он целовал сапоги своих палачей, умолял отсрочить ему смерть еще на час, на полчаса, на пять минут. . .

В одну из ночей в Сумах из всех трех вагонов с заключенными вывели человек 20. Главным образом, здесь были заложники. Их казнили в ответ на полученное сообщение из Харькова о зверствах, чинимых там Деникиным. Эту партию казнили шашками, чтобы меньше привлекать внимания жителей. Только одного застрелили, потому что он дал крупную взятку за то, чтобы не быть порубленным.

Интересно отметить, как постепенно, под влиянием всех этих ужасов, менялась психология заключенных. Есть какой-то предел, за которым ужасы перестают оказывать свое действие. И к ним можно привыкнуть. Но ценой какого страшного вытравления человечности.

Не случайно за обреченным приходили с фразой:

— «Собирайтесь, с вещами».

«Вещи» — это прибыль убивающих. И вот, голодные, мучительно страдавшие от голода и от этого терявшие последние силы, заключенные дошли до простой мысли. Зачем отдавать вещи палачам, пусть ими пользуются, пусть на них надеются хоть один день остающиеся пока в живых товарищи по заключению. Приговоренный еще до прихода за ним вещи свои раздавал; если, например, у него были хорошие брюки, он менялся с тем, у кого они свалились с ног. И вот, когда один забыл о правиле и унес свои вещи на расстрел, или, быть может, не забыл, а хотел умиловить своих палачей, чтобы убили не издеваясь, у оставшихся вырвалось бранное слово:

— «Жадоба» . . .

А о человеке, ушедшем умирать, забыли. Помнили о его вещах. А вот, другой пример притупления человечности. Когда увели на расстрел несколько человек, один из оставшихся, — как он сам признавался потом, — забыл об уведенных и сообразил только одно:

— «Стало свободнее лежать на лавках, можно протянуть измученное тело» . . .

Много можно было привести таких примеров, как от казней тупеют те, кто их совершает, те, кто их наблюдает, те, над кем они производятся. . .

И самое ожидание смертной казни тоже притупляет остроту человеческих ощущений. Тот маленький спекулянт, о котором я рассказывал уже, Владимир Иванович Котомкин умирал на моих глазах. Если раньше он был только испуганный человек, то теперь в этом аду, в этом ожидании насильственной смерти, он постепенно терял драгоценную способность отзываться на впечатления, волноваться, ожидать. Но трогательным огоньком, неугасимой лампадкой пред его душой светила ему любовь к оставленной семье. Букетик, переданный ему трехлетней дочуркой, он заботливо хранил на сердце.

— «Детей жалко», — говорил он мне, — «хотелось бы их повидать. А жить не хочу после всего, что видел: пусть лучше убьют».

Ему объявили о приговоре на 12-й день после отъезда из Харькова. Пришел он с допроса спокойный, немножко более бледный, чем всегда.

— «Ну, как.»

— «Да сказали, что расстреляют сегодня. Я их попросил пожалеть для детишек, а они говорят: нечего нам спекулянтов жалеть» . . .

Лицо его было по прежнему спокойным. Вечером он раздарил свои вещи — чайник, подушку. А затем ушел со своего места в уборную. Прошло минут десять. Я

приоткрыл дверь и увидал, как в вонючем закоулке — два шага в квадрате — стоял Владимир Иванович и молился. Стало так больно за человека, которому в его святом стремлении уединиться, побыть с самим собою перед смертью, было некуда идти, кроме грязного клозета.

Когда пришли конвойные, Котомкин подошел ко мне и попросил его благословить. Я вложил в свой последний поцелуй всю нежность, которую вызывал этот человек.

А затем он пошел, с засохшей веточкой цветов в петлице. Шел он нелепо торопясь. И снаружи донесся его голос:

— «Только вы пустите меня первым — боюсь, станет страшно, когда увижу, как других» . . .

Его тоже зарубили пашками.

Стало ли ему в последнюю минуту страшно за себя. Поддрежал ли засохший букетик его бодрость. Кто знает . . .

От Сум до Орла мы ехали в обществе уцелевших буржуазных заложников. Остальных почти всех убили и только нескольких выпустили за полной недоказанностью какого-либо обвинения.

В Орле высадили и заложников. Мы — я и Вершинин — в сопровождении 8-ми человек конвоя двинулись в Москву. Поезд быстро мчал нас к цели. Впереди предстали новые впечатления в В. Ч. К., встречи с партийными товарищами. Но ожидание не волновало. Утомленные ум и чувство возвращались все к тому, к жуткой полосе, только что пройденной. Тени товарищей по этому жуткому путешествию реяли в воздухе. Становилось трудно дышать от терпкого запаха крови. И с еще большим убеждением, чем раньше, на трибуне Демократического Сопещения, 2-го и 5-го С'ездов Советов, когда мне пришлось от имени нашей партии протестовать против позора смертной казни в Революционной России, из груди моей рвался крик:

— «Да будет проклята смертная казнь» . . .

Пусть этим орудием увенчивается здание буржуазного владычества. Но для социалистической революции этот купол — величайший позор, величайшее несчастье. Мы верим и знаем, что революция сумеет обойтись для своей окончательной победы без этого средства.

Вот почему не только ненависть и боль, но и вера в победу звучит в нашем крике:

— «Да будет проклята смертная казнь» . . .

В. Карелин.

Голодовка левых соц.-рев. в Бутырской тюрьме.

1.

Правительственная система концентрирования л. с.-р. со всей России в Бутырской тюрьме привела к тому, что в Бутырках к октябрю мес. 1919 г. скопилось около 120 до 130 человек л. с.-р. Условия, в которые были поставлены л. с.-р., отмечались совершенно ненужными и бессмысленными издевательствами над ними со стороны предержащих властей. С усиленным старанием и добросовестностью применялось все, что было худшего в царских тюрьмах. Непомерная грубость «коммунистических» надзирателей, постоянно запертые на замок камеры, полная изоляция, оправка по часам под подозрительным и выслуживающим оком «блюстителей». Угрозы при малейших признаках протеста ввести вооруженную силу и «расправиться», неоднократные случаи действительного введения вооруженных до зубов чекистов с «маузерами». Все это создавало удушливую атмосферу полного бессилия и бесправия, глубокого возмущения.

Ко всему этому питание было настолько скверно, что чувствовалось определенное желание брать нас «измором». Кормили буквально отбросами. Гнилые очистки и шелуха картофеля и др. овощей являлись для нас чуть не роскошью. Нужно было видеть, как измученные и голодные товарищи с жадностью выбирали из выброшенного на двор мусора совершенно недоброкачественные гнилые очистки картофеля, обваривали их кипятком и в таком виде ели, чтобы хоть чем-нибудь утолить свой голод. Камеры

совершенно не отапливались, и голодные, истощенные и больные товарищи в промерзлых камерах проводили целые дни.

Положение день ото дня становилось невыносимее, тяжелее. Можно перенести голод и холод, можно мириться с каким угодно физическим лишением. Революционеры стойки в физических лишениях, но во всем режиме, включая и питание, чувствовалось преднамеренное издевательство и атмосфера в тюрьме сгущалась. Ждали только случая, чтобы нарождавшийся протест вылился в наиболее грандиозную и революционную форму, и случай представился. Однажды подан был на обед суп, сваренный из совершенно гнилой икры, буквально кишевшей червяками. Вид такого «изобилия» червей в супе вывел из себя даже нас, нетребовательных к пище, и некоторые из товарищей безо всякого предварительного уговора схватили ушаты с супом и вылили их на лестницу. «Коммунистические блюстители» поняли это, как «бунт», немедленно ввели вооруженную силу в коридор, камеры наши заперли на три замка (в то время, как спекулянтам и ка-эрам, видимо, в пику нам, камеры открыли). Лишили нас прогулок, совершенно лишили оправки, т. е. просто не выпускали в уборную и предъявили нам ультиматум: «или мы должны очистить лестницы от разлитого супа, или нас заморят строжайшим тюремным режимом». Тогда уже встал перед нами во всей своей остроте вопрос о массовой голодовке. Администрация тюрьмы, в лице проворовавшегося негодяя «коммуниста» Маркова, правой руки палача Ладиса, делала все, чтобы вызвать нас на голодовку. Введение режима не только без прогулок, но и без оправки, нависшая над нами угроза даже физической расправы — заставили нас решиться на последнее отчаянное средство сопротивления, массовую голодовку л. с-р. с обструкцией. Нашли способ снестись со всеми строго изолированными л. с-р. После тщательного обсуждения голодовка была принята *единогласно* на платформе выработанных к админи-

страции и правительству требований политического и экономического характера. Возмущение, решимость протеста, глубокая, товарищеская солидарность и спаянность были так велики, что даже тяжело больные товарищи, которым ни в коем случае нельзя было голодать без риска умереть, в первые же два дня голодовки, настойчиво просили принять их в число голодающих. Однако, лево-эсеровский тюремный коллектив настоял на своем, и тяжело больных товарищей обязал не принимать участия в голодовке. Все участники голодовки коллективно решили не только не бросать голодовки персонально, но даже не поднимать вопроса о прекращении ее без ведома и согласия на это специально избранной «комиссии трех по голодовке»; всякий прекративший голодовку пресонально без согласия комиссии трех, без обсуждения коллектива, об'являлся провокатором. Голодовка была об'явлена с 30 ноября 1919 г. с 12-ти часов ночи, и с этого момента все функции тюремного коллектива л. с-р. инт., переговоры с администрацией и правительством и все проведение голодовки перешло в руки «комиссии трех». Она была выбрана с таким расчетом, чтобы связать собою наиболее значительные группы л. с-р., разбросанные по Бутырской тюрьме.

2.

27-го ноября коменданту тюрьмы Маркову было передано следующее заявление:

В В.Ч.К.

От Лев. Соц.-Рев., заключенных
в Бутырской тюрьме.

Заявление.

Мы, левые с-р., заключенные в Бутырской тюрьме, неоднократно обращались в В.Ч.К. и М. Совет и к отдельным представителям с просьбой улучшить наше положение в Бутырской тюрьме, но до сих пор обещания разрешить наши просьбы в благоприятном смысле не выполнены; ма-

ло того, органы власти и отдельные их представители не нашли нужным так или иначе ответить. В последний раз заключенные л. с-р. обращаются в В.Ч.К. с категорическим требованием улучшить их положение, ибо последнее, вследствие развивающейся эпидемии тифа, испанки, уже сваливших многих наших, заболевания туберкулезом (80%), вследствие долгого заключения в тюрьме закупоренными в тюремных казематах при скверном воздухе и сырости, вследствие недоедания из за хронического воровства в хозяйственной части тюрьмы и проч, стало совершенно не возможным и может быть охарактеризована, как медленная смерть. Это вынуждает нас пойти на все средства, имеющиеся в нашем распоряжении для поддержания требований.

Лев. С.-Р., заключенные в Бутырской тюрьме.

Требования.

1. Улучшение питания.
2. Открытие камер от утренней до вечерней поверки, причем во время чтения лекций разрешается собираться желающим слушать лекцию в одной из камер до 11-ти час. вечера.
3. Отопление камер.
4. Ежедневная переписка, причем немедленная отправка корреспонденции и немедленная раздача полученной.
5. Личные свидания не меньше одного раза в неделю.
6. Прогулка два раза в день.
7. Удаление с коридора не-социалистов.
8. Баня раз в неделю, снабжение бельем и мылом.
9. Организация рациональных работ.
10. Снабжение теплой одеждой.
11. Производство допросов без вызова «с вещами по городу».
12. Возможность организации школы и лекций для всех заключенных л. с-р. и снабжение для этого необходимыми пособиями и принадлежностями.
13. Урегулирование взаимоотношений с тюремной администрацией».

На выполнение выставленных требований дано было сроку 3 дня.

Трехдневный срок истек, ответа от власти не последовало. Оставалось начать упорную борьбу за сносное человеческое существование. Было послано новое заявление в Московский Совет и В.Ч.К., где говорилось:

«В виду того, что в 12-м корпусе, где заключена большая часть л. с-р. с 26 ноября введено осадное положение, выразившееся пока практически: 1.) в увольнении с работ всех наших товарищей, 2.) в лишении прогулок, 3.) в оправке по камерно, при чем на оправку каждой камеры (до 25 человек) дается только 10 минут, что является самого низшего сорта издевательством; в виду того, что вечером 26-го была введена в коридор и даже в одну из камер (57) вооруженная сила, при чем комендант приказал применять оружие, если со стороны заключенных последует стук (заключенные стуком в дверь требовали, чтобы оправка производилась таким же образом, как и раньше), л. с-р., заключенные в Бутырской тюрьме, при невыполнении предъявленных требований объявляют голодовку с утра воскресенья.

Заключенные в Бутырской тюрьме
Лев. Соц.-Рев. Инт.»

О начавшейся голодовке было сообщено на волю, кроме нашей партии, также с-р. максималистам и анархистам, которые не замедлили довести до сведения фабрично-заводских рабочих. Официальным путем было послано заявление в В.Ц.И.К. следующего содержания с приложением требований:

В Президиум В. Ц. И. К. Советов.

Заявление.

от Лев. Соц.-Рев. Инт.,
заключенных в Бутырской тюрьме.

Доводим до сведения президиума Ц.И.К., что нами, л. с-р. неоднократно указывалось В.Ч.К. и Московскому Совету на чрезвычайно трудное положение нас, заключенных в Бутырской тюрьме. Наши указания и просьбы,

однако, оставались без ответа, а, между тем, развертывающаяся эпидемия испанки и тифа, общее истощение, голод и полуголодное существование делают свое дело. Подавляющее большинство товарищей обрекается на вымирание. Наконец, в 12-м корпусе, где заключена большая часть л. с-р., объявлено осадное положение, вследствие которого условия заключения сделались окончательно невыносимыми. В четверг, 27-го, нами было подано заявление на имя В.Ч.К. с требованием улучшить условия нашего заключения. До сих пор ответа на заявление не получено, и мы вынуждены были, в виду невыносимости создавшегося положения, объявить голодовку. Голодовка начата всеми л. с-р., заключенными в Бутырской тюрьме, в 6 час. утра 30 ноября и будет продолжаться до удовлетворения выставленных нами требований.

«По поручению заключенн. л. с-р. (подписи).»

В связи с голодовкой 120-ти л. с-р. режим в Бутырках принял еще более строгий характер. Администрация тюрьмы, коммачейки, тайные явные агенты В.Ч.К., которые подсаживаются к заключенным для «освещения», были поставлены на ноги и следили не только за голодающими, но и за постовыми надзирателями, боясь, что последние могут служить связью с партий на воле, а также с заключенными товарищами, участниками голодовки, находящимися в других корпусах. Чрезвычайка была уверена, что изолированные китайской стеной коридоры можно скорее спровоцировать и сорвать голодовку. Поэтому, на второй день голодовки были вызваны члены комиссии в контору тюрьмы, яко-бы для переговоров о прекращении голодовки, но по дороге были насильно взяты стражей и брошены в Полицейскую башню. Таким образом, голодающие были поставлены перед фактом нового насилия. Изоляция была настолько непроницаема, что даже низшая администрация не знала, что в одной из 4-х башен, конечно без пищи, даже без воды, в холодных камерах сидят

«секретные». Среди остальных голодающих высказывались разные догадки о «пропавших» товарищах. Говорилось, что взятые товарищи находятся в подвале В.Ч.К., в Лефортовской тюрьме и т. д. Голодающие твердо решили не вести никаких переговоров с властями, довести до сведения воли и дать еще раз понять В.Ч.К., что мы решили упорно бороться за свои требования. Почти одновременно с официальным заявлением власть имущим контрабандным путем пошло и письмо секретариату Ц.К. нашей партии о ходе голодовки. Приводили полностью новое заявление в В.Ч.К.

В Президиум В.Ч.К.

Заключенные в Бутырской тюрьме
Лев. Соц.-Рев. Инт.

Заявление.

Вчера, 1-го декабря, вечером комендантом Бутырской тюрьмы были вызваны в контору тюрьмы для переговоров о прекращении нашей голодовки наши представители... Вместо переговоров правительство тайком от нас арестовало их и препроводило в другое, неизвестное для нас, место заключения. Считая этот предательский поступок совершенно не достигающим цели в смысле срыва, прекращения голодовки, мы заявляем ему, что не прекращая до конца своей голодовки отказываемся впредь до возвращения наших товарищей вести всякие переговоры по этому делу. Беспрецедентный в всей истории русского революционного социалистического движения по своей гнусности и низости поступок представителей правящей партии, объявляем перед всеми трудящимися новым позорным делом Р.К.П., о чем и доведем в свое время до всеобщего сведения русского и европейского общества.

2 декабря 1919 г.

Заключенные в Бутырской тюрьме
Лев. Соц.-Рев. Инт.

В ответ на это заявление правительство ответило новыми репрессиями. В 12-й корпус снова была введена вооруженная стража. С применением грубой силы голодающих хватали, часть уводили, часть уносили на руках в одиночный корпус, где размещали по два и по три человека в камеру. При этом страже, в случае успешной работы, было обещано по ½ фунта хлеба, который был выдан из хлебопекарни после этой унижительной операции. Сношение с мужским одиночным корпусом было затруднительно. Тем более, что закрытые в одиночных камерах и сидящие на разных галлереях, голодающие даже между собой не имели возможности говорить.

В ответ на подобные действия властей — часть освобожденных от голодовки товарищей, находящихся на работе, решила тоже реагировать и присоединиться к голодающим. Ими было подано заявление коменданту тюрьмы и копии В. Ч. К. и В. Ц. И. К., где говорилось:

«Мы, л. с-р. (инт.), работающие на кухне и пекарне в числе 8-ми челов, глубоко возмущенные тем, что справедливые и естественные требования наших товарищей (12 кор., околосок и женск. од.), несмотря на трехдневную голодовку, не удовлетворены, настаиваем на их немедленном удовлетворении. В случае неудовлетворения таких, мы с утра 3—12 объявляем голодовку.

2—12. (подписи).

После такого заявления рабочих из Часовой башни перевели также в одиночки.

Заключенные в Бутырской тюрьме правые с-р., не принимая участия в нашей борьбе, были глубоко возмущены провокацией и издевательством над голодающими революционерами. И свое возмущение и протест они в числе 18 человек (были также освобождены больные и часть работающих) подкрепили голодовкой, сделав заявление следующего содержания:

«В понедельник, 1-го сего декабря, вечером в контору тюрьмы были вызваны для переговоров несколько человек

голодающих л. с-р., до сих пор они не возвратились, и где они находятся, точно никому не известно. Мы считаем этот шаг со стороны власти шагом, безусловно провоцирующим беспорядки, а, может быть, и жертвы в тюрьме. Мы требуем немедленного возвращения увезенных представителей л. с-р. на свое место, в противном случае с завтрашнего дня, 4-го сего декабря, мы, члены п. с-р., возмущенные беспримерным издевательством над заключенными социалистами, объявляем голодовку вплоть до возвращения увезенных л. с-р.

3 декабря 1919 г.

По уполномочию 7 коридор.
заключ. соц.-рев. Берг.

Так, число голодающих не уменьшалось, а увеличилось, что чрезвычайно бесило власти, тем более, что на воле ряд фабрик и заводов требовал от правительства прекращения голодовки и даже освобождения социалистов.

Происходивший в это время, так называемый, 7-й С'езд Советов, по существу очередной с'езд большевистской партии, куда были допущены по полутора человека от «оппозиционных групп», как-то: меньшевиков, «Народовцев» и «ручных» анархистов, не услышал заявления о голодовке революционных социалистов, которое должен был сделать один из членов союза с-р. максималистов, прорвавший блокаду и явившись контрабандным путем на заседание с'езда. Большевистские заправилы, в роде Зиновьевых и Троцких, считали лишним доводить до сведения с'езда о таких «пустяках».

В эти дни наша партийная организация всецело была занята тюремной голодовкой и делала все возможное, чтобы пленные голодающие товарищи одержали победу.

Довести до сведения рабочих масс о голодовке была первая задача партии, что и было сделано. И нужно сказать, что поддержка фабрично-заводских рабочих и родственных революционных организаций имели большое моральное значение для голодающих.

Правительство пускало в ход все провокационные средства, чтобы сорвать голодовку; поэтому, была спрятана комиссия по проведению голодовки, устроена изоляция голодающих. Комендант тюрьмы под угрозой револьверных выстрелов заставлял в Женском Одиночном корпусе голодающих женщин принять хлеб, ложно сообщал сидящим в мужских одиночках, что в околотке л. с-р. бросили голодовку и наоборот. Приносили в камеры голодающих горячий белый хлеб, мясной суп и т. д., чтобы соблазнить голодных. Но все это и ряд других выходов агентов власти разбивались о твердую волю, солидарность, сплоченность и сознательность голодающих, ибо все отдавали себе отчет в том, что голодовкой поставлена слишком большая ставка и что проигрыш этой ставки есть не только притупление одного из верных в руках пленников в борьбе с правительственным произволом оружия, но есть и удар по партии в целом.

Правительство молчало; «коммунистические» тюремщики становились день ото дня злее.

Ряды голодающих еще увеличились. Тяжело больные при 40° температуры, которым врач и комиссия по голодовке категорически запретили участвовать в голодовке, видя издевательства над обессилевшими товарищами, об'явили голодовку. Приведем одно из заявлений, сделанное больными в В.Ч.К.:

«Мы, тяжело больные, возмущенные грубыми и циничными выходками со стороны власть имущих по отношению к нашим голодающим товарищам, выходками, которыми могли бы позавидовать правительство Абдул-Гамида и Николая II, выходками, каких стены Бутырской тюрьмы еще не видали, как-то: 1.) провокационный вызов наших товарищей в контору тюрьмы, яко-бы для переговоров о прекращении голодовки, и увоз их в один из коммунистических застенков, до сих пор еще не возвращенных: насильственный перевод с побоями и руганью голодающих товарищей с 12 кор. в одиночные камеры, при чем тюрем-

ное начальство докатилось до такой проституции, как посул и выдача страже за «успешную работу» по 1/2 фунта хлеба, что и было сделано. До таких приемов доходил иногда черной памяти генерал Мин, когда для усмирения восставших рабочих и крестьян он спаивал молодцев — семеновцев. Теперь голод заставил «новых Семеновцев» за 1/2 фунта хлеба издеваться и избивать голодающих и протестующих революционеров: 3.) поступок коменданта Бутырской тюрьмы, когда он вместе со своей свитой ворвался в женский одиночный корпус, где угрожая революционеркам нашим голодающим товарищам - женщинам ругал их нецензурными словами и проч. и проч., заявляем В.Ч.К., несмотря на категорическое запрещение врачей нам голодать, мы, в знак протеста, объявляем голодовку до конца, т. е. по *полного* удовлетворения наших товарищей и до возвращения наших делегатов.»

Некоторые из больных, укажем хотя-бы на т. Голоколенцева (был активный туберкулез, харкал кровью) и др., которым было запрещено голодать, нарушили товарищескую дисциплину украдкой с начала голодовки здоровых товарищей голодали, и только тогда, когда было обнаружено подобное «преступление», они официально присоединились к голодовке.

Правительство, видя, что провокацией и угрозами нельзя сломить стойкость голодающих, решило начать переговоры. Комендант тюрьмы, получив директивы свыше, понизил тон и обещал ряд уступок и даже заявил, что он на свой страх и риск согласен удовлетворить несколько пунктов предъявленных требований. Ему было заявлено, что никакие переговоры не могут быть, пока не будет возвращена комиссия и что вообще с ним, комендантом, способным на самые гнусные выходы, разговаривать не желаем.

Наконец и В.Ч.К. подала признаки жизни и голодающие получили официальную бумажку.

Приводим ее полностью:

«Инструкция:

На предъявленные требования л. с-р., что президиум В. Ч. К. нашел возможным из 13 предъявленных пунктов удовлетворить нижеследующие: № 3.) отопление камер; 4.) ежедневная переписка и отправка корреспонденции; 7.) удаление не-социалистов с 12 кор.; 8.) баня раз в 2 недели, снабжение мылом и бельем; 9. организация рациональных работ по возможности; 10—11. производство допросов без вызова по городу, при необходимости будут вызваны по городу; 12.) возможность организации школы и лекций, если это не будет противоречить социалистическому строю, для всех заключенных л. с-р. снабжение необходимыми для этого пособиями и принадлежностями.

«Секретарь Мещеряков».

Так как согласно этой «инструкции» ряд требований не был удовлетворен, то в В. Ч. К. в письменной форме было заявлено, что голодовка будет продолжаться.

На пятый день голодовки перед ответственными партийными работниками выпали неожиданно новые затруднения. Часть боевых товарищей заявила, что если требования не будут удовлетворены завтра, т. е. на 6 день голодовки, то они в знак протеста против насилия и издевательства власти, творимого над голодающими революционерами, кончат самоубийством.

В общем, картина и без таких надвигающихся трагедий была ужасающая. В Одиночном корпусе, как на кладбище в каменных склепах, в которых был невероятный холод, ибо камеры не отапливались, лежали неподвижно, часть на голом полу, исхудалые, изнуренные долгим заключением, физическим истощением и текущей голодовкой десятки людей. В околodge, несмотря на внешние лучшие условия, где камеры отапливались и больные лежали на койках, впечатление было не отрадное. Больные

«испанкой» лежали в жару, у сердечно больных начались припадки, у туберкулезных по причине голодовки или от волнения пошла сильнее кровь горлом и т. д.

Бодрость духа, непоколебимая стойкость была написана у всех на лицах, и это говорило, что борьба будет не на жизнь, а на смерть.

На шестой день голодовки комендант тюрьмы снова пытался войти в переговоры, но все его поведение за эти дни питало общее отвращение, и ему снова было заявлено, что до возвращения делегатов не может быть никаких переговоров, а тем паче с ним, комендантом, способным на провокации и на самую низкую подлость.

Это заявление его сильно обидело, и он, вышедши из камеры на 7-м кор., разводя руками, повторял:

— «Меня, коменданта, обвиняют в подлости. Я не могу для них ничего сделать, если они так будут вести себя».

В тот же день в тюрьму были допущены представители Политического Красного Креста Е. П. Пешкова и М. Л. Винавер, которым в течение пяти дней не разрешали посещение тюрьмы.

Такое благосклонное отношение власти к общественной организации давало нам повод думать, что правительство решило удовлетворить все наши требования.

И, действительно, вышло так. Сначала было удовлетворено наше добавочное требование — возвращение членов комиссии. Когда товарищи снова были среди нас, правые с-р. прекратили голодовку, так как требование их было удовлетворено. Переговоры Политического Красного Креста, с одной стороны — с властями, с другой — с голодающими, затянулось на несколько часов, и только к 12-ти час. ночи, следовательно на 7-е сутки голодовки, власть имущие дали ответ, что требования наши удовлетворяются, за исключением одного — о свиданиях. Но на наше заявление, что в случае неудовлетворения мы продолжаем голодовку, В. Ч. К. ответила, что и этот вопрос на днях будет раз-

решен в благоприятном смысле, и Политический Красный Крест сделал нам заверение, что он со своей стороны, примет все меры, чтобы свидания давались, а также поможет реализовать и провести в жизнь наши завоевания. С нашей стороны было еще одно добавочное требование — это возвращение всех голодающих из одиночных камер по своим местам, что тоже было удовлетворено.

И когда голодающие собрались в 71 камере, чувствовалось, что наша партийная семья еще более окрепла духовно, что голодовка оказала большое моральное влияние.

О политическом значении не приходится говорить. Оно было велико. На самом деле, когда «коммунистическая» власть попирает все завоевания февраля и октября, когда множество труженников станка томятся в тюрьмах, когда ряд деревень сносится артиллерией и десятки тысяч крестьян расстреливаются, когда царит беспощадный голод и уносит тысячи трудящихся, когда никто не имеет права открыто протестовать на весь произвол и насилие, когда задушена печать и живое слово, когда новые «совбуры» братаются с самодержавными зубрами и единым фронтом душат великую революцию, когда, когда, когда... Можно тысячи раз повторять злополучное «когда», — в это время небольшая группка революционеров, оторванная от авангарда революции и находящаяся в плену у своего врага — Кремлевского Правительства, повела борьбу в глухом застенке. И эта мучительная, тяжелая борьба напоминала трудящимся, что не все политические партии и группы бросили борьбу за освобождение труда и человеческой личности, и что только борьбой можно сломить всякий гнет, откуда бы он ни исходил — от Ленина или Деникина, Троцкого или Мильерана и Ллойд-Джоржа.

Один из голодающих.

Голодовка.

Это был период, когда заключенные левые эсеры вступили в решительную борьбу с коммунистической вла-

стью всеми средствами, которыми можно было располагать в тюрьме. Борьба, казалось бы, далеко неравная, ибо против нас были с ног до головы вооруженные чрезвычайники и весь аппарат государственной власти, мы же имели только одно — сознание необходимости борьбы и величайшую солидарность в этом всех товарищей.

Нужно было изумляться, как просидевшие по году, полу-мертвые от голода и болезней товарищи пошли на путь борьбы, который вел неизбежно к массовой смерти, и как твердо и стойко они ее выносили: с сознанием своей правоты, с каким-то экстазом, с особенным психологическим состоянием, когда самые опасные для жизни пути становятся единственно приемлемыми.

Голодовка готовилась давно. Все лето и осень 1919 г. администрация тюрьмы, назначенная Всероссийской Чрезвычайной Комиссией, на все наши требования об улучшении тюремного режима и питания давала отрицательный ответ, подкрепляемый иногда указанием на силу своих пулеметов.

Много раз, когда левые эсеры, доведенные издевательствами, угрожали начать самую решительную борьбу, в лево-эсеровский коридор вводились отряды чрезвычайников.

Непосредственным поводом к фазису борьбы послужило следующее обстоятельство: на общую кухню, где готовилась пища на всю тюрьму, поступила икра с огромным количеством червей и всю эту прелесть клали в котлы и варили суп. Администрации тюрьмы указали на это преступление. И тем не менее суп разносился по тюрьме, принесен был и к нам. Весь этот суп, более чем на сто человек, мы вынесли на лестницу третьего этажа и пустили вниз. Естественно, что некоторые надзиратели, случайно проходившие внизу, получили великолепнейшие души из червивого супа.

Немедленно же на коридор явился комендант тюрьмы с отрядом чрезвычайников, и объявил коридор на осадном

положении. И так, подлый режим был доведен до последней степени подлости.

Несмотря на ухищрения охраны, камеры сносились друг с другом и обсуждали дальнейшую тактику.

Было решено, что с вечера 27-го ноября 1919 г. начнется обструкция; уже во время вечерней поверки происходили столкновения с администрацией, так как товарищи ходили по разным направлениям камер и, таким образом, не давали возможности их сосчитать.

Наконец, около восьми часов началась обструкция.

Сигнальная камера стала медленно и тихо подавать стучащие звуки — это был сигнал; ее также начинают поддерживать вторая, третья и т. д.; сигнальная камера мерно усиливает стуки и они все усиливающейся волной прокатываются дальше и дальше, другие камеры дружно отвечают, сила звуков все растет и растет и, наконец, доходит до таких размеров, будто бы все своды здания сейчас рушатся и похоронят все живущее в тюрьме.

Сигнальная камера ослабляет стук, это же делают и другие; наступает мертвая тишина: как-то торжественно и в то же время жутко; все чутко слушают и ждут: нет ли шагов вооруженного отряда; знаем, что отряд будет скоро введен и, может быть, начнутся расстрелы. Смотрим в окна: тихо, темно, видно только тюремные стены, да усиленные патрули, освещенные огромными фонарями; патрули безмолствуют и стерегут революционеров. Сигнальная камера опять мерно и тихо подает звуки, другие камеры ее поддерживают; звуки опять все усиливаются и доходят до какого-то кошмара, как потом говорили некоторые из надзирателей.

В разгар обструкции быстро открываются двери нашей сигнальной камеры и сюда врывается отряд чрезвычайников во главе с комендантом. «Ни с места, а то стреляем», и делается попытка захватить товарищей, находившихся у дверей: волной бросаются товарищи к дверям и все сме-

шивается, слышны только угрозы и ругательство чрезвычайников; в этот момент беспрерывно мелькали перед нашими лбами дула заряженных револьверов, но это никого не смущало, в результате все товарищи остались целыми и невредимыми. Подобные же истории были и в других камерах.

Обструкция кончилась без жертв. Но ведь это было только началом борьбы. Утром 28-го стал во весь рост вопрос о голодовке, ибо так дальше жить было — нельзя: или медленное вымирание или через голодовку к более сносным условиям существования. Против голодовки не высказывался никто. Выбранная комиссия сформулировала требования, выставленные нами, их всего было шестнадцать.

Важнейшие из них были следующие: 1.) Улучшение питания, 2.) открытие камер от поверки до поверки, а в дни докладов, лекций — до 11-ти часов вечера. 3.) Свобода в устройстве докладов, лекций и т. д. для левых эсеров. 4.) Учреждение старостата.

Все требования со специальным ультимативным заявлением послали во Всеросс. Чрезв. Комисс. Срок ультиматума истекал в 12 часов ночи на 30-е ноября; в случае неудовлетворения наших требований об'являлась голодовка. 29-го ноября был избран голодовочный комитет из трех лиц, которому поручалось проводить голодовку со стороны технической, вести переговоры с властью, а также и держать в курсе дела Центральный Комитет Партии.

Голодовочным комитетом были освобождены от голодовки все тяжело больные товарищи и лица, необходимые для некоторых общественных надобностей. Так как 29-го вечером от власти не поступало никаких заявлений, то утром 30-го была об'явлена голодовка, с правом для голодающих курить и пить воду, остальное все было запрещено.

Утром в 1-ый день голодовки власть удовлетворила 8 из 16-ти требований, но так как это были требования второстепенные, то голодовка продолжалась.

На 2-ой день голодовки вечером голодовочный комитет и староста нашего коридора были вызваны в контору для переговоров.

Когда мы пришли в контору, там уже находились комендант, его помощники, а также два правых эсера, заведующих хозяйственной частью околodka. Переговоры не привели к положительным результатам. Предполагая, очевидно, что сломить голодовку можно только ухудшением условий, а также распылением товарищей, комендант отдал приказ арестовать нас тут-же, после переговоров; сопротивление с нашей стороны было совершенно бесполезно, так как рядом в комнате оказался целый отряд для нашего ареста, а с другой стороны, наша смерть могла смутить некоторых товарищей, так дружно поддерживающих голодовку.

Нас бросили в одну из сырых и холодных камер Полицейской башни.

Целые сутки двери камер не открывались совсем и грязненькие матрацы протаскивали сквозь дверное окошечко. Заключение в башне, кроме нас, никого не было; у дверей камеры стоял «надежный» коммунист Соколов и охранял нас. Вход в башню был заперт и у наружной двери стоял усиленный патруль; проходить в нее имел право только комендант. Изоляция была полная и мы абсолютно ничего не знали о том, что делается с нашими товарищами на коридоре. В 12 часов ночи с третьего дня голодовки на четвертый явился к нам комендант и предложил кому-нибудь пойти на коридор: после совещания один из членов голодовочного комитета пошел туда и увидел, что все левоэсеровские камеры были пусты. Тут же коменлант сообщил, что все уже бросили голодовку, за исключением четырех, которые утром 4-го дня голодовки тоже перестанут голодать. Все эти сведения обсуждались

в комитете и рассматривались, как провокация со стороны властей; тем не менее нас чрезвычайно сильно беспокоил факт разгрома коридора. Каждый день по нескольку раз к нам приходил комендант и предлагал бросить голодовку, так как остальные все бросили. Но с нашей стороны было выставлено уже новое требование: дать свободно снестись с товарищами и узнать правду о положении, и так как этой возможности не было дано, мы продолжали голодать. А положение у нас было ужасное: разведенные по холодным камерам башен, истощенные продолжительным сидением в тюрьме, в условиях постоянных провокационных слухов о развале голодовки, мы быстро теряли силы, и на 5-ый день голодовки один из нас уже не мог вставать, а двое ходили едва передвигая ноги и опираясь на стены.

Провокация делала свое дело и чрезвычайно сильно понизила наше настроение; у некоторых из нас стали появляться нотки сомнения на счет твердости голодающих. При таком-то настроении настал 5-ый день голодовки. Прибежавший комендант на наш вопрос: «Как ваши дела,» комендант ответил (так, чтоб стража не слышала), что голодовка разрастается. Какая была великая радость у всех нас при этих известиях, как-то бодро и хорошо стало на душе. Товарищи были крепки. Что же было с нашими товарищами. Оказывается, их всех на 3-ий день голодовки, после нашего ареста разбросали по камерам одиночного корпуса; их поставили в такие же подлые условия, как и нас, провоцируя беспощадно: одни из охраны говорили, что комитет бросил голодать, другие, что всех членов комитета расстреляли; подкладывали голодающим в камеры хлеб, чтобы соблазнить их на еду и т. д. Но товарищи чаще всего пускали этим хлебом в спины надзирателей. Несомненно, парские охранники уступали в отношении провокации охранникам В.Ч.К.

На 5-ый день, игнорируя запрещение комитета, начали голодать все больные испанкой, тифом, туберкулезом и т. д.

В этот же день, в качестве протеста против ареста комитета, начали голодать и правые эсеры. Кроме того, вопрос о лево-эсеровской голодовке стал горячо дебатироваться в одном из коридоров, где были заключены школы красноармейцев-офицеров; здесь решено было голодать на 7-ой день нашей голодовки. Кроме этого, уже вся тюрьма начала жить чрезвычайно нервной жизнью и все ждали с напряжением результатов борьбы.

Такой поворот событий встревожили и В.Ч.К.; по ее уполномочиям комендант неоднократно пытался вступать в переговоры с отдельными товарищами одиночек и околodka (больных голодало человек тридцать), но его или называли мерзавцем, не желая разговаривать, или просто заявляли, что переговоры имеет право вести только комитет. Когда же он говорил с нами, то мы опять заявляли, что без свободных сношений с товарищами не может быть и речи о прекращении голодовки.

Так настал шестой день голодовки. Утром как сумасшедший вбегает к нам в камеры башни комендант и заявляет: «Ради Бога, товарищи, прекратите голодовку, я больше не могу, так как мне нигде нельзя появиться, всюду слышу от ваших умирающих левых эсеров крики: «вон, идет палач, мерзавец, подлец!» — я больше служить не буду, только прекратите голодовку».

Наконец, в наши камеры пришли представители Общеполитического Красного Креста Е. П. Пешкова и Винавер для ведения переговоров между нами и представителем власти Бердичевским, пришедшим вместе с ними и промолчавшим во все время нашего разговора с Винавером и Пешковой.

Красный Крест заявил, что В.Ч.К. удовлетворяет все пункты наших требований, причем вопрос о питании тоже будет разрешен в благоприятном смысле, хотя он еще и находится в процессе обсуждения.

Только что один из членов нашего комитета, удучи доктором, перед приходом Красного Креста установил, что

по всем признакам двое остальных членов комитета на седьмые сутки должны умереть. Головы у нас как-то не работали и все силы совершенно оставили. Писать мог только один из нас. Все же комитет устроил совещание.

Совещание наше вынесло постановление, что несмотря на некоторую неясность первого пункта, удовлетворение по всем остальным, а также категорическое обещание разрешить благоприятно и вопрос о питании, говорит за необходимость прекращения голодовки.

В ночь на 7-ые сутки члены комитета из башни были переведены в околоскок, где началось обсуждение вопроса о прекращении голодовки. Когда собрание было информировано о ходе переговоров, то подавляющее большинство поддержало мнение комитета: были посланы делегаты от собрания в мужской и женский одиночные корпуса; первый целиком высказался за прекращение, второй целиком — за продолжение. В три часа ночи на седьмые сутки референдум показал, что только ничтожная часть товарищей высказывается за продолжение и, таким образом, голодовочный комитет объявил о прекращении голодовки. Утром начался перевод товарищей из одиночек на прежний коридор; с мешочками, серьезные, но радостные по случаю полной победы, с провалившимися щеками, как какие то тени человеческие шли наши товарищи на свои прежние места; узнавшая о результатах борьбы тюрьма встречала их криками: «Ура!» а коридор, где сидели красноармейские школы, — пением интернационала. Дружно подхватили вставшие груди наших товарищей мотив революционного гимна и оглашали им стены тюрьмы.

Жизнь пошла по новому; твердость товарищей во время голодовки сделала их огромной силой, с которой не считаться уже было нельзя.

Начались доклады, лекции, организован был университет. Оживленный и совершенно свободный обмен мнениями дал возможность детально обсудить различные во-

просы, программу и тактику партии. В тюрьме стало свободно дышать.

Коменданта Маркова скоро прогнали за воровство и назначили Захарова, который был, вне всякого сомнения, человек более гуманный и порядочный.

Голодовка показала, что даже в стенах тюрьмы левые эсеры остаются решительными борцами за индивидуальность, и партии, имеющей таких членов, бояться нечего — ей принадлежит будущее, а не тем, кто заполняет тюрьмы, и старые и новые, революционными социалистами и анархистами.

Северов.

Grand-Hôtel „Boutyrki“

I.

Уже со времени июльских событий мы в Москве работали все время точно на вулкане. Несмотря на кажущуюся легальность партии, все время было заметно особое «внимание» со стороны властей: арестовывали на митингах, на вокзалах и неотвязно следили за помещениями Комитетов. Привыкнув к такой работе, под бдительным взглядом чрезвычайского «дяди», все мы мало обращали внимания на предупреждения осведомленных людей о предстоящем вскоре разгроме. Думали, — «не посмеют». Но они посмели. Мало обратили мы внимания и на целый рой кожаных мужчин и женщин, замелькавших в первых числах февраля вокруг Комитета. Правда, условились о явках и паролях на случай провала, устроили сигналы у Комитетов, но — все-таки работали открыто, и «на Остоженке» ежедневно толпилось от 20-ти до 50-ти человек. Так было и в памятный, как для партии, так и для нас лично, день 10-го февраля (1919 г.). Подходя утром к Комитету, я на углу переулочка увидел обычную фигуру кожанного рыцаря, рассеянно разглядывающего что-то в облаках. Эта безмятежная фигура казалась чем-то неизбежным и привычным и не вселяла никакого беспокойства. Сигналы: объявления какого-то фантастического содержания у дверей и цветная прокламация на окне, выходящим к храму Спасителя, и видимая почти за полверсты, были на своих местах.

Внутри тоже все было в порядке. Шла обычная работа. Приходили в Московский Комитет из районов за литературой и с извещением о собраниях и митингах, толпились приезжие из провинции за информацией и с докладами. Часто звонил телефон.

Вот и конец работы. Ушла М. С. Спиридонова, уехал на митинг И. З. Штейнберг, редет и расходится и остальная публика. Уже половина пятого; пора уехать и мне. Но сегодня понедельник, день вообще более обильный посетителями. Еще остается сбыть несколько человек приезжих.

Хотя моя собственная работа уже окончена, берусь помогать изнемогающим областникам. На мою долю выпадает просветить о текущем моменте двух долговязых парней, как выяснилось из их слов, бывших ранее членами Московской организации, затем отошедших от партии, работавших где-то на Юге по продовольствию и пришедших понюхать, безопасно ли в настоящий момент быть левыми эсерами. Кстати, оба они в тюрьме показали себя шкурниками: подали заявление о выходе из партии и с осуждением тактики партии. Для беседы с ними я удалился в библиотеку, всю увешанную венками и знаменами с боевыми лозунгами, перенесенными сюда после похорон т. Прощяна из опасения, что на кладбище их похитят или осквернят. Невольно понижаем голос, входя в эту комнату. Начинаю информировать о настроениях в партии, среди рабочих масс Москвы и провинции и т. д.

— «Каково взаимоотношение с большевиками», — задает мне вопрос.

— «Положение по-прежнему неустойчиво. Я не уверен даже, что исключена возможность появления в этот самый момент вооруженных гостей.»

Едва успел произнести я эти слова, а, вернее даже, — не успел кончить фразу, — как в дверях появились две

характерные фигуры чрезвычайников с «маузерами» в руках.

— «Руки вверх, ни с места».

Началась обычная сцена обыска. Часть принялась за обшаривание помещения и карманов, часть—за допрос. Не хватало лишь мелодичного звона шпор, чтобы вообразить себя снова в старой, до-революционной Руси. Правда, есть и разница. Недостаточно опытные обыскивающие, маловнимательные караульные. В результате успеваем кое-что припрятать, кое-что уничтожить. Только несчастная случайность не позволила мне воспользоваться недостаточной бдительностью стражи для оповещения товарищей в городе о происходящем. Меня и еще одного товарища отвели в комнату, где помещался раньше Це-Ка. Бывший с нами караульный вышел в коридор, чем я и воспользовался для того, чтобы немедленно хватиться за телефонную трубку; соединился и ждал только ответа, когда все было разрушено непривычным к трубке рупором, который упал на пол и шум от падения привлек внимание стражи.

Уже через полчаса после начала обыска, Рыбина, Розенблюма и меня, как постоянно работавших в помещении, а потому наиболее, по их мнению, опасных преступников, приглашают отправляться.

— «Прощайте, товарищи,» — кричу я, и мы уже спускаемся в последний раз по лестнице. У подъезда на момент останавливаюсь, чтобы снять с двери записку, отсутствие которой является сигналом опасности. Это удастся сделать вполне свободно. Видимо, наши спутники не приобрели еще достаточной опытности в этом пункте. Комфортабельно усаживаемся в автомобиль, из предосторожности поставленный несколько поодаль от входа, и движемся в путь... к новой жизни.

Несколько минут, и мы в учреждении на Большой Лубянке, кровавая слава которого переживет не одно по-

коление. Первое впечатление вполне безобидное. Просто какая-то канцелярия: кипы бумаг под мышкой шныряющих сотрудников, не в меру работающие, но усиленно флиртующие товарищи-барышни. Иногда лишь блеснет лакированная кабура «маузера» у бока проходящего мимо сотрудника. Но уже несколько минут успевают дать должное впечатление. Говорят о засаде, в которую в этот день попал известный «Козуля», бандит, ограбивший как-то ночью проезжавшего в автомобиле «самого Ленина». С профессиональным спокойствием, как обычно в канцелярии, говорят об исполненных бумагах, беседуют о расстрелянных собственноручно, кой от кого чувствуется легкий спиртной запах, приглашают вполголоса друг друга на пирушку. Словом, создается атмосфера кровавого притона.

В чрезвычайке мы остаемся не долго, что-то около получаса, и снова отправляемся в путь. В автомобиль усаживаемся среди мрачного двора со сложенными у стены штабелями дров, вид которых напоминает ходящие по Москве истории о расстрелах подле них арестованных. Невольно взор ищет на земле следов крови. Их не видно, во-первых, оттого, что, вероятно, расстреливают где-либо в более укромном уголку, а, во вторых, продолжающий падать снег застилает почву и скрывает следы, если бы они и были.

Быстро проносимся по Лубянке к Сухаревской. Мысль начинает выискивать способы для побега, мелькает надежда на скопление народа на рынке и уменьшение скорости, но народу от чего-то очень немного, мотор летит все также быстро, а наши спутники (их трое, кроме шофера) еще сильнее сжимают свои «маузеры», которые они не выпускают ни на момент из рук. Настроение у нас несколько оживляется, вполголоса обмениваемся впечатлениями о мелькающих улицах и снующей по ним публике, прощаемся с Москвой. Наконец, из-за поворота показ-

лись красные здания Бутырской тюрьмы. Еще полмиллиарда, и мы у ворот. «Привет тебе, приют священный».

II.

Несколько минут в комнате-душ — для обыска. Душ теперь не работает и комната служит чем-то в роде гостиной для приема новых постояльцев и для сборов тех, кому судьба послала волю или, наоборот, «стенку». Со словами: «в комнату-душ с вещами» соединены для меня самые мрачные воспоминания. Это — обычная формула вызова смертников, в то время, как другим обычно говорят: «на свободу», «на допрос». Обыск — короткий, поверхностный, и вот мы уже входим в одиночный корпус. Внутренний вид его с висячими галлереями напоминает многопалубный пароход. Коридор представляет щель во всю высоту трех этажей со стеклянным потолком. При входе сразу наталкиваемся на знакомое лицо. В канцелярии В. Е. Трутовский, арестованный в Вильно, перевезенный сюда и просидевший несколько дней в одиночке. Его переводят в общую камеру. В руках его знакомый сверток. Только утром мы готовили ему это как «передачу». Останавливаемся на минутку и быстро делимся новостями: разгромлен Комитет, арестовано десятка полтора-два, захвачен и не вышел № 2 «Знамени» (легального журнала под редакцией А. А. Шрейдера). Прощаемся. Процедура регистрации кончена. Нас ведут в третий этаж. Проходя мимо народа, который движется по коридору, (камеры открыты — время вечерней «оправки»), бросаем направо и налево короткие фразы о массовых арестах левых эсеров, надеясь, что эта новость вылетит из тюрьмы.

Дверь одиночки захлопнулась, ключ лязгнул в замке. Я — один. Начинаю знакомиться со своим жильем. Это — небольшая каморка, 4 шага ширины и 6 длины, со сводчатым потолком, с невысоким, но довольно широким окном под самым потолком, так, что заглянуть в него можно лишь подставив что-либо. У левой от входа стены — откидная

железная койка с достаточным количеством насекомых и с до нельзя грязным тощим соломенным тюфяком. У правой — откидной стол и такая же табуретка. Над столом тусклая электрическая лампочка. Вот и все. Впрочем, нет. Я не упомянул еще и неизменной подруге тюремной жизни — «параше», помещающейся у входа в деревянном ящике.

Начинаю ходить взад и вперед, перебирая в памяти все только что пережитое. Мало-по-малу начинает прохватывать холод. Радиатор парового отопления едва-едва теплый, за то вся наружная стена и окно покрыты толстым слоем инея, который оттаивая, стекает на пол. Ощущение погребка со льдом.

Побродив немного, начинаю изучать дверь. Оказывается, что окошечко, прорезанное в середине ее, «волчек» по тюремному, через которое передают пищу, не заперто. Осторожно открываю дверцу и высовываю голову в коридор. Оправка уже кончилась. В коридорах никого нет. За то из всех почти волчков торчат головы — зрелище очень своеобразное. У меня мелькает сравнение с гильотиной, в очке которой зажата голова казнимого, сравнение близкое к истине, так как $\frac{4}{5}$ тех, кого я тогда видел перед собой, — теперь уже успели свести свои счета с жизнью.

Между головами шел оживленный разговор на тюремные, литературные и политические темы. Задав мне вопрос о том, где и по какому делу я арестован, они снова вернулись к прерванной беседе.

— «Я вам уже говорил о том, как был арестован». — начинает довольно красивый брюнет с длинными волосами, какие в былые времена носили «нигилисты» и которые теперь отличают анархистов, — «после ареста меня отвезли в В. Ч. К. (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия) и там стали допрашивать, стараясь узнать имена, скрывшихся после экспроприации, товарищей».

— «И здорово допрашивали.»

— «Уж чего здоровее. Допрашивало четверо; сначала грозили, потом стали бить. Ударили несколько раз по лицу, свалили на пол и били кулаками и ногами. А один из моих «собеседников» выхватил нож и со словами: «Будешь ты говорить, ракло проклятое . . .» — ударил им меня в бок» . . .

— «Какой ужас!»

— «Хорошо еще, что нож скользнул вдоль ребра, а то бы я там и остался: рана и сейчас еще сочится».

— «Что же, вы заявили об этом главным чекистам?»

— «Заявлял, да что толку. Устроили комедию товарищеского суда — все сотрудники собрались и меня, как свидетеля, допросили, да и постановили: «принимая во внимание молодость и нервность обвиняемого, выразить ему порицание и отправить . . . в действующую армию! . . .»

— «Ворон ворону глаз не выклюет», — подводит итог собеседник.

Прислушиваюсь к другим беседам. Одна чета, видимо, спекулянтов, обсуждает вопрос, что выгоднее: купить дом или торговать продовольствием. Один стоит за первое, другой — за второе, но оба единогласно заключают, что этим надо заниматься осторожнее, а то приходится порой знакомиться с Бутыркой. Какой-то ка-эр (контр-революционер) обменивается мнениями о текущем моменте, и из высокоавторитетного источника пророчит взятие на днях Питера и падение через 3 месяца большевиков.

На противоположной стене, против двери Рыбина (он сидит рядом со мной) появляется светлый квадрат, затем посреди него тень от головы. Видимо, он тоже выглянул в коридор. Окликаю и обмениваюсь впечатлением от моего номера в большевистской гостиннице. Его камера не лучше. Мало-по-малу число собеседников уменьшается. Пытаюсь начать разговор с «постовым», добродушного вида стариком, лет около 60. Он спокойно присутствует при нашей беседе и только при появлении кого-либо

начальства внизу у канцелярии, просит помолчать. Ведь мы сидим в «строгих одиночках», да еще с особым постом. Он охотно отвечает на вопросы. Служит 23 года. Помнит Гершуни, когда тот сидел в Пугачевской башне (название связано с преданием о содержании в ней знаменитого атамана). Вспоминает он и кое кого из большевиков.

Прощаюсь и закрываю свой волчек. Невольно приходит в голову мысли о том, насколько связано существование тюрьмы со всякой государственной властью, и как далеко еще до разрушения всех Бастилий. Пало самодержавие, расстрелян царь Николай, олицетворявший в себе отжившую азиатчину, сошло позорно со сцены правительство Керенского, прошумели фразы о правах трудящихся, о близком пришествии социализма, об уничтожении смертной казни даже по суду и на фронте, о власти Советов, — воцарился «коммунизм» и . . . снова пригодилось старое орудие угнетения — тюрьма. Вновь ожила азиатчина с ее девизом: «Я тебе царь и Бог».

Вновь сидят в Бутырке те, кто боролся раньше и борется теперь за социализм, прямые наследники Каляева и Гершуни. Сидят борцы за власть Советов и право трудящихся, так громко провозглашенных теми, кто теперь сажает в тюрьмы и расстреливает. Повернется еще немного колесо истории, и в той же Бутырке найдут приют сегодняшние властители, усаженные каким-либо белым генералом, пришествие которого они сами подготовили советской безумной политикой диктатуры над трудящимися. — И все тот же добродушный старичек — постовой будет прохаживаться вдоль одиночек, постукивая порой ключами по железным перилам.

Вот и ночь. Пытаюсь уснуть, но напрасно. В начале мешают крики одного из соседей, проворовавшегося комиссара, пытающегося симулировать сумасшествие. Он стучит в дверь, требует коменданта, вообще проявляет массу энергии. Но, наконец, умолкает и он, утомившись или найдя, что уже достаточно поработал.

Впрочем, тишина скоро опять нарушается. Около часу ночи слышался лязг шпор по железной лестнице, громкий говор. Осторожно выглянув в коридор, вижу проходящих мимо меня несколько фигур в кожаных костюмах и с «маузерами» сбоку. Через несколько минут они появляются снова и ведут с собой какого-то человека в военной шинели с мертвенно-бледным лицом и блуждающими глазами. Зловещие ночные гости были не кто иные, как «комиссар смерти», — модный титул заплочных дел мастера, сменившего традиционную красную рубашу на кожаную куртку, — и его помощники. Подобные визиты были очень часты во все время нашего пребывания в одиночках.

Холодно, тонкая шинель не греет. Заснуть удастся лишь к утру, а в 6½ часов уже проверка. Начинаются тюремные будни.

В той же строгой камере мне пришлось провести дней 5, несмотря на отзывы врача о необходимости в виду болезни (сильнейший бронхит) немедленного перевода в более сухую и теплую камеру. За эти дни от пребывающих товарищей мы узнали все подробности разгрома Московской и отчасти Цетральной организации, об аресте Спиридоновой и Штейнберга, о нескольких десятках арестованных по домам. Спиридонову поместили в Кремле, откуда она впоследствии бежала, а Штейнберг и прочие вскоре были доставлены в Бутырку. Впоследствии туда же сосредоточили и всех арестованных в провинции, устроили, как шутили у нас, «всероссийский съезд Левых С-Р.». Кроме Цетрального и Московского Комитета на Остоженке, были обысканы и опечатаны районные клубы: «официально» лево-эсеровский Рогожский и Замоскворецкий Рабочий клуб «Молот», в котором принимали участие, главным образом, наши товарищи. Рассказывали несколько комических случаев при арестах. Один товарищ, явившийся на Оостоженку и увидевший отсутствие сигналов, зашел «удостовериться» и продол-

жает удостоверяться, и полнее, здесь, в Бутырке. Другой, по телефону, узнав от подошедшего чрезвычайника, что «все благополучно», — тоже попал в ловушку. За то в «Молоте» посрамленным оказалось «правосудие». После обыска опечатали только двери с улицы. Две же остальные были оставлены без печатей, что и дало возможность почти в течение месяца прислуге жить там, а порой ночевали приезжие «нелегальные» товарищи. Само собой разумеется, что имевшаяся там литература была вынесена и распространена.

Сплошным анекдотом явилось и сообщение правительственной печати о раскрытом «новом заговоре левых Эсеров», доказательства которого его творцы нашли в 2-х пудах шрифта и заваливавшейся печати коменданта Кремля, которая, видимо, была заготовлена еще в прошлом году, когда готовился побег М. А. Спиридоновой и Саблина из Кремлевского заточения. Побег этот не был осуществлен тогда, потому что их тогда по постановлению Центральн. Исполн. Комитета освободили, а печать осталась, теперь послужила единственным, но за то и «неопровержимым» материалом для инсценировки заговора.

Наконец, получилось распоряжение Чрезвычайки о переводе нас из строгих одиночек в обыкновенные. Мы разместились по два человека в камере. Сначала я сидел с Л. Кроником, на квартире которого нашли знаменитую печать и которого мы поэтому называли «великим заговорщиком». Кстати он и не знал о существовании этой печати. Она была положена на хранение вместе с какими-то бумагами. Но через несколько дней доставили к нам его брата и я уступил ему свое место и поселился с чужими.

Велико было мое удивление, когда новый сожитель оказался моим случайным знакомым по Лондону. Это было во время моего возвращения из Русской армии во Францию — в Россию. Это было накануне октябрьской революции, а наше знакомство ограничилось одной встречей в эмигрантской среде. Теперь же мне пришлось по-

знакомиться с ним поближе. Он оказался очень характерной для современности фигурой. В прошлом старый социал-демократ, возвратившийся в Россию ко времени октябрьской революции, благодаря старым связям занявший ответственный пост в одном из «Главков» (Главное Управление важной отрасли промышленности), в конечном результате оказался в Бутырке по обвинению в преступлении по должности. Здесь вскоре к первоначальному обвинению присоединились и другие: спекулятивное скрывание на очень крупную сумму объявленных государственной собственностью и подлежащих национализации медикаментов, которые он, как подобает деловому человеку, привез из за границы. Потом выплыли и еще факты: он управлял, лавируя среди советских национализаций, домом одного крупного туза и видного кадета, эмигрировавшего на Кавказ, и еще что-то в подобном же роде. И ко всему этому иногда произносимое: «мы, старые революционеры».

Сожитель мой оказался очень осведомленным в тюремных историях, знал кто и по какому делу сидит и что ему грозит. От него я услышал много историй о чрезвычайных допросах с пристрастием, о расстрелах людей, слишком близко знавших подготную заправил чрезвычайки. Он передал также несколько фактов, характеризующих то ужасное разложение, которое царило среди смертников. Один из подобных фактов мне и самому пришлось наблюдать. Двое арестованных, один из них крупный аферист-спекулянт, сидя в чрезвычайке, сошлись очень близко, перешли даже на «ты». Обоих перевели в Бутырку. После расстрела упомянутого афериста, его друг был вызван на допрос, где ему было предъявлено обвинение, основанное на доносе расстрелянного. Цепляясь за жизнь, стараясь отсрочить, хотя бы на недолго, конец, он обратил в орудие своего спасения дружеские беседы с товарищем по несчастью. Розыскные органы широко и с успехом пользуются этим для освещения дел, и

нам опытные люди рекомендовали большую осторожность в отношениях со случайными соседями.

Относительное благополучие сидения в нестрогих одиночках длилось что-то около 10-ти дней, и мы снова водворились в строгие камеры, но на этот раз уже на целых 6 месяцев. Поводом к этому явились наши «литературные развлечения».

III.

Нестрогие одиночки дают право гулять группами, человек по 40. Сверх того, 3 раза в день бывают «оправки» во время которых открываются одновременно камер 10—15. Эти «вольности» позволяли встречаться с товарищами, которых к этому времени собралось около 15-ти. Начался обмен мнениями, решили не терять времени сидением за-даром и работать. Наши «ученые» принялись за творчество, несколько же товарищей, менее искушенных в литературе (в их числе и я) решили писать небольшие статейки на злободневные темы, давая их для оценки более опытным товарищам. Некоторые же поговаривали даже о соединении всех этих работ в журнал «Бутырское Знамя».

Принялись за работу. Я взял себе темой с'езд Коммунистического Интернационала, предстоявший в ближайшие дни, и статьи членов которого только что появились в печати. В этой статье я произвел подсчет, сколько делегатов имеет необходимые мандаты. Точных цифр я теперь не помню, но общий результат подсчета получился следующий. Специальный мандат, кроме большевиков, получил *только один* представитель — т. Платтен (Швейцария); случайно оказался в Москве, но без мандата, представитель «Спартак» — т. Альберт. Все же прочие явились делегатами Кремля — под видом делегатов то венгерского, то американского, то французского, то всевозможных азиатских пролетариатов, с мандатами, приготовленными прямо в бюро с'езда.

Мой бывший сожитель по камере написал небольшую, но очень остроумную статью под заглавием:

«Свидетельство о бедности». В нем он определил официальное сообщение о «заговоре левых С-Р.», как свидетельство об умственной и нравственной бедности, выданное большевистским «Цетральным Комитетом Бедноты» самому себе. Только несколько товарищей успело познакомиться с этими статьями. В одну из ближайших ночей был произведен среди левых эсеров обыск (подобные совершались в этот период очень часто), и наше творчество очутилось в руках Чрезвычайки.

Произведя аресты, потому что партия левых С-Р. была в данный момент опасна, большевики начали с жадностью подбирать и даже измышлять факты для раздувания версии о заговоре. Залучив в свои руки об Интернационале, Чрезвычайка поспешила и ее превратить в событие. Как мы узнали впоследствии, статья была размножена и роздана членам президума Ц.И.К. и Ц.К. большевиков. При этом была создана версия, что эту статью предполагалось направить за границу.

Чтобы воспрепятствовать нам поддерживать связь с волей, нас опять усадили в строгие одиночки. Этому сопутствовало об'явление нас заложниками в связи с широким массовым движением в Питере, которое возглавлялось нашими товарищами. Как когда-то буржуазное правительство Керенского создало клеветническую историю о связи левых С-Р. и большевиков с германскими шпионами и даже старой полицией, так теперь его наследница «Рабоче-Крестьянская власть» изобрела участие партии левых С-Р. в каком-то плане белогвардейцев взорвать железнодорожные мосты и заводы. Это именовалось в официальных сообщениях «преступной попыткой левых эсеров лишить пролетариат Петербурга хлеба». Заодно, видимо, руками самой Чрезвычайки был инсценирован взрыв Питерской водокачки, который тоже провозгласили попыткой левых С-Р. лишить тот же пролетариат воды.

Словом, в один прекрасный вечер мой сожитель был переведен в другую камеру, а на моей двери появилась табличка: «строгая», и началось снова отшельническое житье с одинокими прогулками в четверть часа, с умываньем изо рта над парашей в своей камере. Пришлось провести около недели под угрозой расстрела, который нам сулила казенная печать и являвшиеся представители Чрезвычайки, но затем мало-по-малу все успокоилось. Вскоре наступила весна, начались беседы через окна с товарищами в мужских и даже женских одиночках, и вообще мы настолько приспособились к этой жизни, что впоследствии, после полугодичного сидения в строгой, переведенный в общую камеру я почти с сожалением расстался с моей тихой кельей в «Grand-Hôtel Boutyrki».

К. Пр—ич.

„Семь недель в В.Ч.К.“

А. А. Измайлович.

29-го октября 1919 г.

Со вчерашнего дня сижу я в одном из закатков-одиночек в В.Ч.К. 3 шага в длину, 2-в ширину, нары и столик-доска, приколоченная к стене. Таких смежных клеток пять штук в одном ряду. Они отгорожены друг от друга и от остального пространства комнаты, образующего нечто в роде коридора, досками до потолка. Окна в коридоре, в клетках — только дверные окошечки, куда подают пищу. Под потолком электричество. Горит днем и ночью. Клетки совсем сквозные—часовые и соседи могут лицезреть тебя в щели между досками с трех сторон. Это импровизованная тюрьма была еще совсем недавно каким-то банком.

Меня изловили вчера на улице. Оглядываться мне не надо было: я *чувствовала*, что за мной идут. У нас, за заячье наше существование, развилось шестое чувство — *шпикоощущение*. Поганое это ощущение—чувствуешь, что за тобой что-то бесконечно мерзкое, гнусное. Не знаю, у всех ли это так. У меня всегда по отношению к провокаторам и шпикам возникает чувство какого-то *мистического* отвращения и брезгливости. Они представляются мне какой-то *особенной* породой существ, отвратительной и вместе страшной именно своею *особенностью*.

Дикий крик создали:

«Стой, ни с места. Руки вверх!»

И вот уже он передо мною. Одна рука приставляет мне револьвер ко лбу. Другая торопливо шарит по мне. Лицо разъяренное.

«Надосло мне за тобой, как за зайцем, бегать»

Дальше следует матерная брань.

Отчего он так разъярен. Тем, что я не раз уходила от них эти последние две недели

Вот такие же разъяренные были городовые и околоточные тогда, 13 лет назад, когда арестовывали меня после брошенной бомбы в Минске. Только у них вместо матерной ругани повторялось особенно часто: «У, нечистая сила» . . . Этот, как «коммунист» не верит, конечно, в нечистую силу и ругательства у него поэтому более позитивные.

В чрезвычайке меня сразу представили пред радостные очи профессионального изловителя левых эсеров — Романовского.

«А, Александра Адольфовна. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста!» встретил он меня, хвастливо подчеркивая, что знает меня даже по имени и отчеству.

И это «Александра Адольфовна» он вставлял с удовольствием через два слова в третье.

Еще появилась деревянная статуя командора — «умный» Лацис. И еще третья фигура — без речей.

Моим заявлением, что я — член партии Левых Социалистов-Революционеров Интернационалистов и от дальнейших показаний отказываюсь принципиально, они не удовлетворяются и пристаю́т ко мне, к какому течению я принадлежу — к Штейнберговскому или Черепановскому. Лацис смешит меня чрезмерной уже близостью к оригиналу — царским жандармам.

«Имейте в виду, что от вашего ответа зависит судьба трех недавно арестованных женщин.»

Обыскали меня три раза. Два последних раза уже поздно вечером, нарочно дав мне лечь и почти заснуть. Каторжные надзирательницы должны бы были поучиться у латышки, снимавшей у меня даже рубашку и обшарившей все швы. Никогда ни одна из них за 11 лет моего ссыльно каторжного стажа не обнаруживала таких способностей. И ничего-то все таки не заработала она, хоть и

сонный был у нее объект, хоть она только-только кожу с него не снимала.

3-го ноября.

Мой сосед, Сахаров, офицер военного времени, каж-дую ночь, начиная с часу «дежурит». Арестован он уже больше месяца, на вокзале в ночь после бомбы на Леонтьевском. Существо в глубокой степени аполитичное и вообще безпринципное. Он мне всю свою жизнь рас-сказал.

С детства безумно любивший свою мать, он с болью чувствовал себя *нелюбимым*. Мать не скрывая отдавала предпочтение другим детям. Рано узнал чувство зависти, раз'едающее душу. Студентом-юристом жил гувернером в домах богатейшей купеческой знати в Москве. Зараба-тывал по тогдашнему времени очень много. Но и делал все что полагалось, не за страх, а за совесть: гулял и ка-тался с детьми, учил их, в совершенстве изучил сам все виды спорта, чтобы быть на высоте своего положения и не ударить лицом в грязь перед своими принципами, по вечерам занимал хозяйских гостей литературными раз-говорами, обезличился до крайности, но зато приобрел совершенный светский лоск. Сам говорит, что у него жи-вого только и осталось, что большая любовь к своим воспитанникам, вообще к детям. Женился на барышне из круга своих господ. Приобрел настоящую ведьму-тещу. Жена оказалась немногим лучше. Страстно привязался к родившейся у них девочке. С женой скоро разошелся. В отместку ему жена не отдавала дочки, к которой она сама была довольно равнодушна. В поисках жены, для того, чтобы отобрать у нее свою девочку, он и был арестован на вокзале. Уверен был, что причина ареста какой ни-будь нелепый донос злющей ведьмы-тещи, ненавидевшей его. Ему инкриминируется участие во взрыве на Леонтьевском. Каждую ночь он ждет расстрела и «дежурит», чтобы его не застали спящим. Почему-то хочет не спать,

когда позовут, вероятно, *не может* спать. Светски острит сам над своим «дежурством», но не скрывает, что смерти боится. Бестолковая, бесцельная жизнь и бессмысленная смерть . . . Совсем опустился. День и ночь валяется на своем грязном, вшивом матраце. 6 недель сидит в одном белье. Не умывается, не причесывается — нет ни мыла, ни полотенца, ни гребешка. Скучная пища чрезвычайно еле-еле утоляет голод и то только на самое короткое время. Без табаку страдает. Каждую смену часовых (через 2 часа) встречает неизменно просительным:

«Товарищ, часовой, нет ли покурить».

Цынга, заработанная им в окопах в годы войны, разыгрывается — ходит с трудом, волоча ноги. Бледный, опухший, но неизменно светски любезный и шутливый, какой-то покорный всему на свете, без чувства протеста к кому бы то ни было, кроме своей тещи. Мы с ним присматриваемся друг к другу, как к людям абсолютно разных, далеких миров. И все таки у нас нашелся общий язык — Достоевский.

Имеются у нас у общие переживания, правда, физиологические — перманентный голод. На воле последние месяцы мне приходилось есть еще гораздо хуже. Хлеб далеко не каждый день видеть приходилось. Но там в работе, вечной беготне и заботах голод не замечался. Только ноги отказывались порой двигаться. А тут в полном бездельи трудно не ощущать все время, даже в самом процессе еды, голода. Миниатюрные порции жидкого супа и $\frac{3}{4}$ фун. хлеба для человека абсолютно не занятого и порядочно уже истощенного голодовкой на воле, нельзя сказать, чтобы было достаточно. Тем более, что спать приходится очень мало: смены часовых, неистовое хлопанье дверью как раз над моим ухом, громкие разговоры часовых позволяют только дремать, и то только на короткое время.

А около нас спекулянты и коммунисты жрут во всю. Четыре раза в неделю выкликают длинный список заклю-

ченных за получением передач. Мне иной раз перепадает с барского стола. Я иногда по братски делюсь с таким же голодным, как я, Сахаровым. А вечерами, после передач, около нашей уборной разжигается плита и коммунисты и спекулянты на ней греют, жарят и варят во всю.

4-го ноября.

Вечерами обыкновенно берут на допрос. Иногда зовут поздно, в 11—1 час ночи. В этих случаях мы с Сахаровым лежим и ждем — *вернется* или *нет*. Иной раз приходится долго ждать — 2—3 часа. Приходит назад — вздохнешь легко и задремлешь. Тяжелый камень — мысль, что вот сейчас повели человека на убой, проведут его через улицу напротив, в подвал М.Ч.К. пристукнет там его в затылок из нагана один из «коммисаров смерти» бывший матрос Иванов, вечно пьяный, или кто другой, потом свалят, как убойную скотину в числе других трупов, тоже *человеческих*, на грузовик ранним утром и вывезут, как нечистоты... Эта мысль отваливается у тебя с души на *эту* ночь, по крайней мере.

Бывает, что ушедший не возвращается. Тогда утром у часового начальник караула или разводящий отберет записку, что такой то уведен для допроса: «давай»... — «Не надо, он не придет»! И все тут. И чувствуешь всем существом своим, что там, в клетке, где сидел, лежал, ел, спал, говорил, думал, мечтал, и томился человек, — *пусто* сейчас и *нет* его, этого *живого человека*, *больше уже нигде*...

В. Ч. К. в переводе на житейский язык значит: «*всякому человеку капут*».

И вечерами же или даже поздней ночью обыкновенно приводят в одиночки новых. С чувством сострадания всегда встречаешь их: только что в их мирной, ночной покой врываются опричники, стащили с постели, все перевернули вверх дном и привели сюда. А в глубине души у меня всегда сверлит тревога, когда я с жадным вниманием

вглядываюсь в быстро проходящего мимо моего окошечка нового постояльца: а ну, как увижу сейчас кого-нибудь из *тех*, кому совсем, совсем здесь не место...

16-го ноября.

10 дней провела я в Бутырках — с 5-го до 15-го ноября. Там в «строгой» одиночке я отоспалась, отмылась, отелась, дышала каждый день хоть по полчаса воздухом на прогулке, видела товарищей левых эсеров, говорила с ними, переписывалась с товарищами из мужского корпуса, читала с наслаждением. Думала, с В.Ч.К. у меня уже все кончено. Не тут-то было. Вчера, уже часов в 8, когда я в мирной тишине одиночки, такой спокойной и уютной после чрезвычайных сквозных клеток, сидела над книгой, — потащили меня «с вещами по городу». Человек 10 чекистов привезли на грузовике партию в Бутырки из В. Ч. К. Меня покатили одну с обратным.

Опять в ту же одиночку. Надписи мои густо-лиловые (я очень старательно смачивала доски, прежде чем писать на них химическим карандашом) все целы. Соседи, за некоторыми изменениями, те же. Сахаров по-прежнему валяется на полу, а не на нарке: уже у него другой сожитель, молодой еврей, бывший фабрикант, теперь Советский служащий — управляющий этой фабрикой (явление весьма распространенное в Социалистической Республике).

Рассказывают мне «чрезвычайные» новости. Один из одиночных, сидевший при мне, Янковский, расстрелян. Вызывали его ночью. Сахаров «дежурил», не спал.

«Я знаю, куда вы меня ведете...» — громко сказал Янковский, — «подождите, я напишу несколько слов жене».

Назад его не приводили. Его обвиняли в принадлежности к национальному центру. Сахаров видел записку, оставленную Янковским. Он просил прощения у жены

за горе, невольно им причененное ей, и советовал ей продать его шубу, чтобы выручить хотя немного денег.*)

Д., представитель одной из разновидностей чрезвычайки, юркий, назойливый, всюду пролизающий господинчик с внешностью приказчика из модного магазина, заграничный студент-юрист по собственным его словам, менял уже чуть ли не второй десяток сожителей в своей одиночке. Приведут к нему кого-нибудь, поддержат день, 2, 3, — уведут в общую или выпустят или расстреляют, как Янковского, просидевшего с ним несколько дней. Сторожили чрезвычайки стали предупреждать о нем всякого нового его сокамерника.

Вчера же, как привезли меня из Бутырок, звали меня на допрос, уже около часов 11-ти вечера. Вся цель допроса было — получение от меня ответа, к какому течению я принадлежу — к Штейнберговскому или Черепановскому. Я им дала, конечно, один ответ:

«Я — член Партии Левых Социалистов-Революционеров».

Романовский разыграл эффектную сцену. Бегал по комнате, махал руками, рычал. Потом внезапно останавливался передо мною вплотную и пронизывал меня взглядом. Словом, все следовательские эффекты ночных допросов пустил в ход. Только «стенки» не демонстриро-

*) Жену Янковского я застала в Бутырках в декабре. В ночь перед выходом декрета об уничтожении смертной казни по приговорам Чрезвычайка, ее в числе других 120-ти человек увезли из Бутырок и расстреляли. В эту последнюю ночь, когда декрет уже печатался в газетах, уже был напечатан (последних из 120-ти из Бутырок взяли в 5 часов утра), в эту ночь Дзержинский праздновал *тризну* — расстреляв 150 человек. Смертники каким-то образом узнали о декрете, разбежались по двору, молили о пощаде, ссылаясь на декрет. Сопротивляющийся и покорных — всех перебили, как скотину. Один чекист-постовой говорил мне как-то, что во время расстрелов во дворе в М. Ч. К. нарочно разводят у автомобилей пары, чтобы заглушить выстрелы. То-то должны были пыхтеть автомобили в эту ночь. Эта тризна, тоже войдет в историю.

вал. С Лидой Сурковой, сидящей в других одиночках, тоже в В.Ч.К., у которой они нашли при аресте на Николаевском вокзале письмо Тамары («Важный документ»), они проделывали и это — репетицию расстрела . . . Ее таскали раз 5 на допрос, и все больше ночью. Один раз продержали с 1 часу ночи до 3 утра. Тут были и утешения папиросами, и любезности, и угрозы, и прятанье ее за портьеры, демонстрирование каких-то сидевших в это время в чрезвычайке девиц, в которых они заподозрили левых эсеров, — одним словом, весь следовательский арсенал. Социалистическая Республика наследовала его целиком от империи Николая I-го и II-го.

«Молчание — знак согласия» — сделали вывод мои жандармы из моего единственного ответа на всю их комедию. «Вы д-д-а, принадлежите к Черепановскому течению», — дико выкрикнул Романовский, подойдя ко мне в плотную и закончил трагически гробовым полушопотом: «и с вами будет поступлено *соответственным* образом.»

Я смотрела на него и мне вспомнился давно-давно виденный мною, плохой довольно, провинциальный актер в роли Зосимова из «Предступления и Наказания».

17-го ноября.

Чекисты говорят, что в ближайшие дни после празднования годовщины Октябрьской Революции было расстрелено в обычном месте — в М.Ч.К. — в одну ночь 47 человек, в другую — 16. То-то пожива была палачам и подпалачам в виде сапог и всего прочего с мертвых . . . Чего они вздыхают, эти чекисты. Сегодня ночью я слышала тихую беседу постовых чекистов около моей одиночки. Один, коммунист, жаловался:

«Скучно что то стало. Никаких *операций* больше не бывает. Бандитов всех переловили. Одни левые эсеры. Да что с них толку . . .»

Да, он прав. Какой толк «коммунистам» с нашего брата. Мы — голодные, холодные, оборванные. Ни на нас самих, ни в наших квартирах ничего не найдешь, кроме сапог без подошв, рваных штанов, 2-х, 3-х мерзлых картошек.

19-го ноября.

Вчера выпустили, наконец, Сахарова. За несколько дней до выпуска продержали его на допросе 6 часов. Фунта 3 хлеба дали ему, говорит, во время допроса для поддержки. Его предположения насчет тещи оправдались. Около 3-х месяцев просидел он таки из за тещи и сплошь почти все ночи «продежурил», ожидая расстрела, кроме самого последнего времени.

Его не только освободили, а дали еще ему по болезни отсрочку от военной службы на 3 месяца. Сосед его по одиночке — Ш., управляющий бывшей своей собственной фабрикой, давал ему место бухгалтера и приют у себя на квартире, пока не устроится. Кажется, за это он ждет каких-то услуг от Сахарова. По крайней мере, он, бывший все время в тяжелой хандре, теперь весело потирает руки и ждет своего освобождения в ближайшие дни.

У юркого Д. в одиночке уже новый сосед — худощавый, смуглый юноша С., сотрудник «Росты», совершенно не знающий, за что его арестовали. Приехали к квартире его на автомобиле, арестовали по секретному предписанию и сунули в одиночку В.Ч.К., в общество Д. Беспартийный, но в партиях разбирается. Даже о нас, левых эсерах и наших ренегатах, в роде революционных коммунистов имеет довольно сносное понятие.

23-го ноября.

В наших одиночках появились мои товарищи по партии — братья Зерцаловы, юноши 22—23 лет. Один — Саша, настоящий левый-эсер. Другой — Ваня, беспартийный. Взят только потому, что его родной брат —

левый эсер. Был арестован и третий брат 17 лет, но того из местной тюрьмы — Калужской — выпустили. При Николае тоже было так. Разница только та, что тогда практиковалось это с особенно важными «преступниками». Так, после Марусиного акта всех ее сестер, замучили обысками всю ее родню, включая 80-летнюю бабушку, ища у них бомб, и ее 13-летнего братишку выгнали из гимназии. Теперь же это преследование до 7-го поколения стало явлением массовым. На то ведь большевики и «массовая» партия . . .

Д. выдворили, наконец, от нас в общую. Выдохся, наверно, — слишком стал известным. Зерцаловых предусмотрительно посадили подальше от меня, а моим ближайшим соседом стал «секретный» С., сотрудник «Росты». Он объясняет мне что значит быть арестованным по секретному предписанию. Это значит, держать в строгом секрете от арестованного причину его ареста. Ломают голову, почему могли бы его арестовать.

Я все таки на чеку перед этим секретным «моим» соседом. На то и че-ка, чтобы быть в ней на чеку.

23-го ноября.

Что-то мерзкое, отвратительно — липкое охватило нас сейчас со всех сторон. Физически, кажется, ощущаешь, как весь воздух здесь, все стены насквозь припитаны предательством, провокацией, трусливой низостью, подлой торговлей человеческой кровью и свободой. Оно, это мерзкое, липкое охватывает тебя со всех сторон, не дает тебе дышать, родит страстную тоску по свежему воздуху, которым дышит человек, а не презренная гадина — плод обработки чрезвычайки.

Да, это верно — *всякому человеку капут*. Не одну жизнь только берут здесь у человека, и не свободу только. Душу его вынимают, живую человеческую душу, а в замен дают бывшему ее обладателю 30 серебрянников и еще, в отличие 20-го века от 1-го, в придачу какой-нибудь

советский мандат, захватанный окровавленными пальцами.

Сегодня утром освободили Ш. Он так был уверен в своем освобождении со времени ухода Сахарова, что принял это как должное. А часов в 5 вечера его привели обратно. Одна щека выбрита, другая — нет. Бледный, испуганный. Ткнули его в самую дальнюю одиночку. Строго на строго приказали часовым не позволять ему ни с кем из соседей разговаривать. Каждые минут 10 прибегает надзиратель и смотрит в окошечко. Ш. так напуган, что от него трудно добиться толкового объяснения. Только и говорил: «провокация Сахарова». В конце-концов можно было понять по его отрывистым ответам, что дело, кажется, в какой-то взятке, которую Ш. должен был дать сегодня каким-то советским чинам, кажется, чекистам. В момент дачи взятки, повидимому, его и арестовали. И Сахаров играл при этом какую-то роль. Освобождение было, значит, инсценировано. С ним привезли сейчас же и всю его семью, кажется. — брата, жену, отца.

Сейчас поздно уже. Ложиться бесполезно. Не уснешь, все равно. Писать обыкновенно трудно. Прижимаюсь совсем к стене дальше от дверного окошечка и напряженно прислушиваюсь все время, не подходит ли часовой к окошечку или к щелям досчатых стен, не вошел бы в дверь из сеней (моя одиночка крайняя) надзиратель, дежурный комендант или еще какое начальство. Тогда симулирую чтение газеты или книги.

Иногда, когда особенно беспокойный часовой, две строчки час целый пипешь. Очень это мешает. Никогда сама с собою не остаешься.

Здесь стены и самый воздух пропитаны провокацией. Среди имеющихся здесь разновидностей заключенных есть, например, такая. Сидит иной по долгу — 2—3 месяца. Спросишь, за что, ответ не определенный. Чувствует себя совсем, как дома. Исполняет роль какую-то среднюю между чрезвычайной администрацией и заклю-

ченными. Одна женщина, например, с тупым откормленным лицом и пышным бюстом. Она весело порхает и флиртует в стенах чрезвычайки, говорят, уже месяца 3. Недавно ее в числе других назначили к переводу в Бутырки. Все ждут Бутырок или лагеря, как несравненно более нормальных условий заключения. Она отказалась идти в Бутырки, ссылаясь на отсутствие теплой одежды.

Бывают такие случаи. Вновь пришедший за «преступления по должности» коммунист или коммунистка узнают в какой-нибудь невинной, скромной девушке, вызывающей общие симпатии публики, старую свою знакомую.

«А, Катя, или Варя, ты как сюда попала!»

Катя смущается и что-то бормочет. Потом внезапно она исчезает, а узнавшая ее коммунистка молчит о ней, как в рот воды набрала. И вдруг через некоторое время кто-нибудь из сидевших вместе в общей камере с этой Катей случайно натывается на нее где-нибудь в дальней одиночке. Она сидит уже под другой фамилией и старательно прячется от бывшей своей сокамерницы.

Но готовых провокаторов сажают в В.Ч.К. в качестве червячка на удочке режы. Чаще же выбирают из имеющегося здесь человеческого материала наиболее годных с «коммунистической» точки зрения и дают им здесь первые уроки, первое наставление и наглядное обучение.

Это Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по *спекуляции, вымогательству, провокации, шпионству и палачеству*. Какая ирония — вставка в титул этого учреждения слово по «борьбе!».

Это учреждение несравненно более высокого ранга, чем Сухаревка. Попадающие сюда или кончают здесь свое брэнное существование или же становятся спекулянтами и вымогателями высшей марки. Что Сухаревка . . . Там идет спекуляция керенками или царскими бумажками, солью, сахаром, мукой . . . Здесь спекулируют *человеческою жизнью*, живыми человеческим телом

и душой. Одни, попав сюда в качестве жетрв, и идут на все, чтобы спасти свою шкуру. Выкупают свою жизнь жизнью себе подобных. Начинают обыкновенно робко и нерешительно, только за страх сначала, потом проделывают это уже за совесть. Другие, в качестве администраторов этого высшего спекулятивного учреждения, частью торгуют жизнью своих жертв (ставки высокие — сотни тысяч — риск ведь огромный, попадешься — свою жизнь отдашь), частью спекулируют телом и душой человека ради самой спекуляции и ради укрепления власти партии «Коммунистов», выродившейся в вопиющее, безобразное, безнравственное социально-политическое явление. Материал человеческий здесь богатый-профессиональные спекулянты и вымогатели, бандиты, легко бравшие чужие жизни, но с животным ужасом цепляющиеся за свою собственную жизнь. И просто люди беспринципные, плывшие всю свою жизнь по течению, не сделавшие раньше ни одной крупной подлости, но и не знавшие, для чего и для кого они живут, случайно попавшие сюда и также случайно очутившиеся лицом к лицу с жизнью и смертью . . . вот как этот Сахаров . . . — весь этот материал идет в прок. При упорстве и известных талантах любой чрезвычайный комиссар, в роде Лациса, Романовского и проч., может этому сырому материалу придать законченную форму *настоящего* провокатора, предателя, палача.

Всероссийская академия по воспитанию *Иуд* . . .

Поздно уже. Сегодня оба часовых вот уже вторую ночную смену заняты надзором за приведенным III. Мне это очень удобно. Сейчас придет третья смена. Надо полежать часов до 6-ти утра.

27-го ноября.

Внешняя обстановка сидения в В.Ч.К. самая чрезвычайная. И в смысле гигиены, и в смысле самого примитивного покоя, хотя бы физического для заключенных, в царские времена соответствующим местом была охранка

(знаменитая Мойка 13) или участки по всем градам Российской империи. Но в этих местах сидение было обыкновенно кратковременно, за редкими исключениями. Я сидела в участке в Минске, после бомбы на Курлова, — темный чулан с отверстием в двери, и кругом и днем и ночью гомон и грохот городских. Но это было меньше трех суток. А тут, в этих чрезвычайных условиях сидят месяцы. Без воздуха, без смены белья (те, кого арестовали на вокзале или на улице чужого города), без бани — 2—3 месяца. И без допроса, очень часто и без предъявления обвинения.

В одиночках еще ничего. Правда, тут свет дневной видишь только через дверное отверстие, днем и ночью электричество. Правда, и тут беспокойно порядком. Каждые 2 часа смены часовых. Бесконечное заглядывание часовых в дверное окошечко, в щели, их ночные громкие разговоры, топот, постукивание винтовок об пол, неистовое хлопанье дверьми . . . все это почти не дает спать ночью. Невозможно раздеться ночью — невероятно грязный матрац (и их далеко не всех хватает), без одеяла и подушки, и вечное существование на глазах — не дает телу отдохнуть, как следует телу в течении месяца и больше.

И все-таки в одиночках сравнительно благодать. В общих — женских и мужских — ужасно. В женских общих, например, только сторожилы пользуются привилегией спать на нарах. Все новенькие должны долгое время валяться на полу, и в одной тесной куче. Тут же, *в самой камере женской*, часовые. Пол заплеван, загажен окурками и бумажками от передач. В воздухе сине от махорки. Вши кишат. Наша уборная часто портится и нам, одиночным, приходится ходить в дальнюю уборную через общие мужские. Проходишь ночью — всегда не спит несколько человек. Полураздетые, они старательно ищут под электрической лампочкой вшей. Около уборной ждут очереди несколько сонных растерзанных фигур, энергично

почесываясь. Есть буржуа в чистом элегантном белье. Но есть, и очень много, в темно серых от грязи рубашках и кальсонах. И лица у них такие же серые землистые, опухшие, глаза безжизненные и тусклые. Обращает на себя внимание мальчик, лет 15. Холщевая рубаха и такие же штаны, невероятные по грязи. Лицо серое, серое. На голове комичная шляпченка грибом. Все зовут его «Колчаком». Арестован где-то на границе, как Колчаковский шпион. Сидит уже давно, месяцы. Декреты о малолетних, вероятно, сами по себе, а он сам по себе. Месяцы, дни и ночи, дышать этим воздухом, кишеть насекомыми . . . Днем и вечером обыкновенно в сенях около уборной, в «фойе», как громко зовут это место, собирается клуб. Тут оживленные разговоры в хвосте перед уборной, тут же флирт. На подоконнике всегда сидит какая-нибудь парочка — проституточного вида девица, будущая сотрудница В.Ч.К., а, может быть, и настоящая, и с ней рядом, вплотную какой-нибудь кавалер, большею частью из арестованных чекистов. У обоих глаза наглые и наглый смех. В очереди так и сыплется:

«Особый отдел . . . Революционный трибунал . . . М.Ч.К. . . . В.Ч.К., . . . Дело передано туда-то . . . Я числюсь за тем-то . . .»

Тон бесстрашный до удивления, будто чиновники обмениваются в мирной беседе в клубе названиями мест своей службы. Ни протеста, ни возмущения, ни ужаса и отвращения от скотской, унижительной для человека обстановки.

— «Товарищ Беленький мне сказал» . . . — «Я спрашивал товарища коменданта» . . .

Их швырнули в свинарню, бросили клок соломы, да миску похлебки. Покрикивают на них надзиратели латыши — иной раз очень грубо (вся администрация — почти сплошь латыши. Этот революционный когда-то народ, теперь специализировался на отхожем промысле шпионства, тюремной охране, провокации и палачества). И

все это не кажется чрезвычайным. Все это не вызывает среди $\frac{9}{10}$ -х здешних обитателей страстного желания борьбы с этим оскотинением человеческой личности. Нет, ответом является только одна показная лояльность, та самая, которая держала так долго дом Романовых. Абсолютический централизм Совнаркома и Чрезвычайки *импонирует* обывателям не меньше, чем импонировало им царско-жандармское правительство. Будто и революции не было. Будто и не было этого короткого момента, когда сами трудовые классы объявили себя хозяевами жизни. Также подхалимски — рабски произносят уста обезличенных оскотиненных людей святое когда-то слово «*товарищ*», как раньше они произносили: «ваше превосходительство» . . . «ваше сиятельство». Ведь от этих «товарищей» зависит, оставить ли тебе жизнь или отнять ее у тебя. Как же не ползать перед ними. А трусливую злобу можно затаить до поры — до времени у себя глубоко в душе, если только . . . если эта душа уже и не продана во имя сохранения своей шкуры.

Тут же в «фойе», прислонившись к стене с заложенными назад руками, стоит обыкновенно рядом со своей матерью тоненький бледный мальчик, лет 11-ти. Внимательно прислушивается к разговорам, дыша смардным воздухом уборной, вдвойне смардным. Это — заложник вместе со своей матерью, отцом и сестрой, чуть постарше его. Я раньше обвиняла внутренне мать, что она из материнского эгоизма держит его около себя, а не отдает, куда угодно — к родным, в детскую колонию, если нет родных. Сказала ей как-то об этом. Не по ее вине, оказывается, дети чахнут здесь без воздуха в этом смраде и грязи физической и моральной. Он *не при ней*, он и его сестра — девочка тоже заложники. И вот уже полтора месяца мать тщетно хлопочет, чтобы детей освободили и отдали ее сестре. Последняя на воле тоже хлопочет. И тщетно. Их предпочитают держать в этой академии по воспитанию спекулянтов и провокаторов. Бедные, только

распускающиеся цветы, опущенные в зловонную тряси-
ну . . .

Есть здесь в одной из общих и грудной ребенок. Тоже заложник, вероятно. Возрастных норм для заложничества в 20-м столетии не существует. Не знаю, были ли такие нормы в средние века. Взяли же за нашего товарища, Майорова, заложником сразу три поколения из его семьи — старика отца, жену и трех-месячного сына. Это уже по библейскому закону — возмездие до седьмого колена . . .

29-го ноября.

Караул несет в В.Ч.К. особая часть при ней. Ее не хватает и караул добавляют еще обыкновенными красноармейцами из частей внутренней московской охраны.

Когда приходит новая смена, не нужно спрашивать, кто они — чекисты или красноармейцы. Одежда, манеры, разговоры, вся внешность редко обманывают. Одни — большею частью в лаптях, в жидких шинелишках, весьма нескладно на них сидящих. Другие — в бекешах или хорошо пригнанных щегольских шинелях, валенках или сапогах. От одних веет деревней — серой, неумытой, непричесанной, в угрюмом молчании и тяжелых думах переносящей . . . до поры — до времени все «коммунистические» издевательства над собой, так же, как в свое время царско-помещичье и Столыпинское. Другие — чистенькие, причесанные, уверены в движениях и словах, большею частью вежливые и даже галантные в обращении (в меньшей своей части — хулиганы), веселы и довольны. Первые — большею частью стоят на посту молчаливо. И ночью чувствуешь за то к ним благодарность — в промежутках между сменами и между приходами разводящего и караульного начальника засыпаешь. Или тихо говорят между собой, чаще всего об отпусках — кто уже ездил из них в отпуск и что привез из дому и как у них там, дома, в занесенной снегом темной деревушке, а кто еще добывается отпуска. Все их мысли и чувства там,

дома, в занесенной снегом темной деревушке, попрежнему забытой, но теплой и сытой в сравнении с Москвой. Заговоришь с ними — о крестьянстве, о красной армии, о коммунистическом правительстве, о партии левых эсеров . . . слушают с жадным вниманием и сочувствием. Они все почти перебивали более или менее долгое время дезертирами. Пошли в конце-концов в красную армию, чтобы спасти своих родных от разорения и всяческих репрессий, жестоко сыпавшихся на них за члена семьи — дезертира. Чекисты в подавляющем большинстве — добровольцы, т. е. представители *деклассированных* крестьян или рабочих — этой *основы* Российской Коммунистической партии, мнящей себя строго классовой партией.

Зерцаловы и я не пропускаем почти ни одного красноармейца, — всласть не наговорившись с ним. И только на двоих у нас нашла коса на камень. Оба пожилые, лет по 40, николаевские солдаты. Эти не только разговаривать, но отказались даже давать заключенным закуривать от своей цыгарки, несмотря на то, что этот либерализм коммунистическим уставом дозволяется. Вся николаевская муштровка пропитала насквозь их души и тело, так что с этими коммунистами уж не надо возиться — и царские генералы и комиссары Троцкого остались бы одинаково довольны ими.

Чекисты сплошь все свои смены оживленно беседуют друг с другом. При них ночью редко уснешь. Они чувствуют себя здесь, на посту, как у себя дома, — напевают романсы, танцуют, борются друг с другом, бросают свои посты и ходят на чужие. Знакомы с доброй половиной заключенных женщин из общей и флиртуют с ними. Ведут разговоры чаще всего о командировках. Харьков, Курск, Саратов, Самара, Киев . . . все хлебные комиссарские места, куда ездят на гастроли выводить контрреволюцию и откуда время от времени удирают без оглядки, — сыпятся у них легко и свободно, как имена родных деревень у красноармейца, овейного еще ветром полей.

Да, у этих кругозор шире, что и говорить . . . Или демонстрируют друг перед другом свои новенькие сапоги, папахи, бекешы. То и дело слышишь:

«Сухаревка» . . . «На Сухаревке продал . . .» «На Сухаревке купил . . .»

Слышишь названия тысяч — 2—3—10 — тысяч . . . А то начнут меняться друг с другом. Тут же, на посту, снимаются у одного сапоги, у другого валенки и одеваются уже в обратной комбинации. Или одна верхняя одежда меняется на другую. Утомленные уши не могут не слышать этих купль, продаж и мен. Утомленные глаза и сквозь закрытые веки ощущают яркий свет электричества. Спертый, прокуренный насквозь до синевы воздух густо наполняет деревянные клетки. В животе вопиющая пустота.

Сколько еще часов надо проваляться до утра, когда широко распахнешь дверь своего ящика минут на 5, пока умоешься, откроешь, наконец, в коридоре форточку под недовольными взорами, а то и ворчанием часовых (соседи спят), сладко глотнешь через форточку один-два глотка воздуха — такого живительного, хотя бы и с Большой Лубянки, — прополоснешь кишки кипятком и отделишь себе от суточного пайка утреннюю порцию хлеба, с неопишуемым возжелением поглядывая на оставшуюся на весь день часть.

1-го декабря.

Моему соседу С., сотруднику «Росты», надоел «секрет» его ареста. Сидит он уже недели две, совершенно не зная за что. Голодает третьи сутки. Хилый и так (вероятно, туберкулезный) он сильно поддался за такой короткий сравнительно срок. Нос заострился, как у мертвеца. Глаза мутные и впалые. В уборную ходит еле волоча ноги, — держась за стенку. Голос больной и слабый. Все время лежит. Когда приносят обед и ужин, он закрывается с головой, чтобы не видеть и не слышать,

как хлебает суп его сокамерник. Я стараюсь есть, по возможности, бесшумно, чтобы меньше дразнить его — стены такие сквозные, что жевание и хлебание слышны очень. И от гастрономических разговоров то и дело приходится удерживать соседей (с голода они очень часты).

У царского правительства и у коммунистического методы борьбы, даже с тенью посягательства на их безграничную власть, одинаковы. И методы самозащиты жертв обоих правительств тоже одинаковы: раз другие аргументы бессильны, приходится жертвам морить себя голодом и разрушать свой организм, терпящий и так в достаточной степени от отсутствия воздуха, движения, от всей обстановки запертой в стойле скотины.

Мое подозрение относительно С. испарилось.

2-го декабря.

С. предъявили обвинение — участие на взрыве на Леонтьевском и в ограблении Народного банка. А я и не подозревала, что со мной рядом сидит такой *важный* преступник. Он и сам этого не подозревал. Сегодня вызывали его и сказали ему об этом. Лапис обещал ему, что к 15-му декабрю его или расстреляют или освободят. С. ждет последнее, так как убежден, что ему удастся установить свое алиби: во время обоих событий он был в уездном городе Смоленской губернии, где руководил советской газетой, был на глазах у местных коммунистов.

А, может быть, ему суждено пополнить своим именем длинный список *чрезвычайных* ошибок. Коммунистическая партия себе ведь даже в особую заслугу ставит перед делом революционного социализма свое пренебрежение отдельными личностями во имя «классовых интересов». О, проклятые скоморохи и бутафоры . . .

Сегодня же С. отвезли в Бутырский околодок. Он страшен — краше в гроб кладут.

Это значит, для него специально предназначался один из чрезвычайных маскарадов. На днях была у нас одна

необычайная сцена. По виду—настоящие чекисты, один даже на комиссара крупного поход, — а на наши вопросы отвечали, что они красноармейцы обычно дежурящей у нас части. Были необыкновенно словоохотливы и либеральны с нами и все вертелись под окошечком или у С. или у Зерцаловых. От меня им пожива была совсем плохая. Я как раз во время их дежурства, используя средство против ощущения голода, лежала, закрыв глаза, стараясь задремать (напрасно, конечно). Я слышала, как похожий на комиссара спрашивал С., стараясь очень неудачно придать своим вопросам простодушный тон:

«А скажите, пожалуйста, почему этих левых эсеров в тюрьме держат. Они ведь признают и Советскую власть и все, как и большевики. . . А вот, анархисты и Советскую власть не признают. Чего они хотят!» . . . и т. д. и т. д.

И слышала, как С., коротко ответив им о левых эсерах, отсылал ко мне:

«Я сам, собственно, мало знаю. Вы вот спросите тов. Измайлович.»

Но тов. Измайлович не подавала признаков жизни.

После их ухода мы обменялись своими впечатлениями от них — Зерцаловы, С. и я.

Впечатления у всех четверых были совершенно однородны.

8-го декабря.

Невероятно скучно читать 6 раз в неделю Стекловские и Бухаринские передовицы и всю прочую казенную макулатуру.

Еще скучнее, вероятно, писать им самим. Вчуже тоска борет, когда представляешь себе несчастного Стеклова или Бухарина, берущего по служебной обязанности перо в руки и сотый-тысячный раз в приподнятом тоне жующего бесконечную ежедневную жвачку прославления Рабочей Коммунистической партии, восхваления

ее мужества, стойкости, беззаветной преданности Социалистической революции, однообразного, как тикание часов, повторения реверансов перед рабочими и крестьянами и бахвальства перед Антантой и белой гвардией, — бахвальства даже в моменты отдачи им хлеба или лесных концессий и подписывания других контрибуций... Во всей патетической жвачке ложь звучит как заклинания, а о *правде* говорит объективная *вынужденность* правительства прибегать к тем или иным заклинаниям. Декреты Совнаркома, кровопускания Чрезвычайки и заклинания в одиночку и хором большевистских шаманов, заклинания упорные и постоянные, ежедневные, ежеминутные — вот три кита большевистской диктатуры. Для трусов и рабов — декреты, для непокорных и преступивших — чрезвычайка — гипноз заклинаний.

Сегодня интересная вариация в газетах. Любопытный документ — декрет об охране 7-го С'езда Советов.

Чего стоит правительство, которое принуждено *так* оберегать свой высший орган, как делается это сейчас коммунистическим правительством по отношению к 7-му с'езду Советов...

Этот приказ о запрещении ходьбы и езды около Большого театра — места заседаний С'езда — впоследствии, при историческом обзоре наших дней, послужит яркой иллюстрацией степени близости между основной массой трудящихся России и подставными представительными органами, так называемого, «Рабоче-Крестьянского правительства».

Какая творческая работа по пути социалистического строительства возможна для правительства, %₁₀-х энергии и капитала которого тратится на охрану себя самого... На охрану от кого... Белогвардейцы не бросают бомб лицом к лицу с врагом. От крайних левых социалистических партий, от анархистов без намордника и веревочки на шею (есть и анархисты с этими атрибутами из разнообразных содержанцев Коммиссарской власти), от крестьян

ян, каждую весну и осень восстающих против чужих им жестоких горе-реформаторов, от рабочих, устраивающих стачки, как защиту от голодного вымирания и новой «коммунистической» каторги, все глубже и глубже проводимой на фабриках, железной дороге . . . новыми Арачеевыми . . .

11-го декабря.

Пренесимпатична разновидность обитателя Чрезвычайки—староста заключенных. Это непременно коммунист. Коммунисты сидят обыкновенно за «преступления по должности»: взял крупную взятку, перевозил при эвакуации миллионные суммы, прилипла к рукам одна-другая сотенка тысяч и т. д. Чрезвычайный староста совсем не то, что обычный тюремный староста. Он даже формально не является представителем интересов заключенных перед администрацией. Это—ставленник начальства для надзора за порядком среди арестантов и для раздачи им пищи. Больше всего они напоминают по своим обязанностям и своим отношением, с одной стороны—к администрации, с другой—к заключенным, помещичьего приказчика из крепостных. Усердием к начальству и строгостью к арестантам он совершенно аналогичен этому крепостному типу. Цели же этих, казалось бы, антиподов—крепостного *холоу* и *коммуниста* совпадают буквально—освобождение. Один—хамством стремится освободить себя от крепостной зависимости, другой—аналогичным хамством—от Чрезвычайки. А когда один чрезвычайный приказчик ждет скорого освобождения, другой коммунист уже обучается около него, состоит кандидатом старосты.

С нами—своего рода духовной аристократией В.Ч.К.—членами левых партий, сидящими большею частью в одиночках, эти приказчики официальные и корректные. Со шпаной же чрезвычайки—с женщинами из общей, большею частью заложницами за женихов, мужей, сыновей, с мелкими спекулянтами, с китайцами, которыми все помыкают (не знаю, за что они сидят), — они властны и строги.

Слышать не могу, как покрывают они на неумело моющую пол молоденькую девушку у нас в одиночном коридоре за то, что она разговаривает с нами, или за то, что она плохо вымыла пол у нас.

С надзирателями они необыкновенно приветливы и благодушны.

Иногда такому приказчику приходит в голову воспитывать в коммунистическом духе сидящих спекулянтов и контр-революционеров:

«Вы очень большие передачи получаете. Надо поделиться с тем, кто ничего не получает».

Это не мешает такому коммунисту поздно вечером, когда простой народ чрезвычайно ляжет спать, растапливать специально для себя плиту около нашей уборной и жарить и варить на ней всякие снеди для своей коммунистической утробы. Общее пользование плитой получающим передачи давно прекратилось. Сейчас это ночная (меньше завистливых глаз должно быть) привилегия старосты и подстаросты Провокация и хамство — две основы этого «боевого органа» Российской Коммунистической Партии — В.Ч.К.

14-го декабря.

Кто-то в общей, пришедший из Бутырок, сказал, что Бутытские левые эсеры голодали с 1-го по 6-ое декабря. Почему, чего требовали и удовлетворили ли их требования, ничего этого добиться не могли. Многие из наших бутырчан сидит уже около года. Истощены порядком. Сколько сил должны были унести у них эти 6 дней голодовки.

«Там наши голодают, а мы здесь сидим . . . Ничего не знаем», грустно говорит Саша Зерцалов.

Хорошо, что он в это время был здесь. Он бы не перенес 6-и дней голодовки.*)

*) Очень скоро, по возвращению в Бутырки Саша Зерцалов умер в бутырской больнице. Больница совсем отрезана от осталь-

Он вот уже два дня корчится от невыносимой боли, у него язва желудка. Второй припадок уже здесь. Мальчик похудел, побледнел, глаза огромные стали. Тщетно я убеждаю его пойти к доктору. Перевели бы его в околоток бутырский. Там, говорят, прилично кормят. Отмахивается: «Бесполезно». А доктор, надо правду сказать, здесь настоящий тюремный. Где это, в Шлиссельбурге или Петропавловске, доктор неизменно смотрел у больного, на что бы он ни жаловался, язык и только этим ограничивался. А наш чрезвычайный доктор только щупает пульс и буквально, ничего не спрашивая и ничего больше не осматривая, быстро уходит, на ходу бормоча: «Пришлю порошки».

Какие чудодейственные порошки лечат от всех положительно болезней, нам так и не удалось узнать: он их при нас, но крайней мере, не присылал.

Сколько времени, интересно, будут нас держать в этом чрезвычайном учреждении. Меня привезли для *допроса*. Допросили в самый день привоза и вот я сижу здесь — завтра уже месяц. Вероятно, в отместку держат за отказ от показаний. Во время первого моего сидения при большевиках (после убийства Мирбаха) в Кремле, после того,

ной тюрьмы (она находится даже в другом ведомстве: тюрьмой ведают М. Ч. К., а больницей Карательный отдел Коммиссариата Юстиции) и представляет из себя, по всем без исключения отзывам, настоящую клоаку-морильню.

Говорят, у Зерцалова тифа не было, а было какое-то недомогание с жаром, когда его потащили в больницу. И он голодовкой требовал, чтобы его или вернули обратно в тюрьму или дали бы ему возможность сообщить товарищам в тюрьму о себе. И он умер в связи с голодовкой. Брата его освободили после смерти Саши и дали ему похоронить его на воле. После этой же смерти наши бутырские товарищи отвоевали право не посылать тифозных в морильню. Для них устроили в самой тюрьме особую камеру-изолятор.

Нужна была смерть Зерцалова, чтобы, во-первых, освободили его беспартийного брата и, во вторых, чтобы перестали бутырских тифозных присуждать к почти неминуемой смерти.

как я принципиально отказалась давать какие-либо показания, Стучка велел запереть меня в моем закутке под замок (до тех пор камеры были открыты) и водить меня одну на прогулку.

Зерцаловы недели 3 уже, как привезены тоже для допроса. И до сих пор их не зовут. Я написала Романовскому заявление — запрос, на каком основании держат младшего Зерцалова, к Партии нашей не имеющего отношения. Скоро после этого моего заявления обоих братьев позвали... только сниматься.

Суркову отвезли в бутырскую больницу — обострение туберкулеза. Да, для туберкулезных бацилл здесь благодать. Одного нашего из общей, заболевшего сыпняком, свезли тоже в бутырскую больницу.

У меня никаких болезней нет, но думаю, что еще месяца 2 продержусь здесь, а потом — полное отсутствие свежего воздуха, ночи почти без сна, недостаток питания, — все это скажется и буду наверно лежать, не вставая, на своем грязном мешке со стружками.

Хороших книг, нужных мне, прислали, но очень трудно читать здесь. Больше мусолю их в руках. Это не бутырская или акатуйская, после вечерней поверки, одиночка.

15-го декабря.

Сегодня в «Вечерних Известиях» приводится корреспонденция из царства Колчака. Когда уральских рабочих, записывающихся под угрозой голодной смерти добровольцами к Колчаку, заставляли пороть крестьян, они секли и приговаривали: «Вот, как бьет розга Колчака. Знай, как бьет розга Колчака» . . .

Да, и у Колчака, и у Ленина, и у Деникина, — везде сейчас одно и то же. . .

17-го декабря.

Интересная парочка сидит сейчас в ближайшей ко мне клетке.

Один—француз, почти не говорящий по русски, механик в каком-то частном гараже. Арестован в связи со взятыми на учет автомобилями его гаража. Его трудно понять. Богатырского роста, мужчина в цвете лет. Другой — тщедушный юноша, совсем мальчик по виду, 18 лет, дезиртир и спекулянт. Возвращался с хлебом и салом с одной из своих обычных поездок, его взяли в поезде, как не имеющего документов, и отправили в М. Ч. К. Он там ходил вместе с другими маловажными заключенными на работы (здесь также ходят из общих чистить снег, рубить дрова, женщины—мыть полы в караульном помещении и во всей В. Ч. К. и получают за это лишние полфунта хлеба). Ему, привыкшему есть много и хорошо — благо возил всего вдоволь — очень голодно показалось в М. Ч. К. Писал письмо за письмом домой своей тетке, чтобы принесла поесть. Ничего не несла. Один раз его послали с поручением на кухню М. Ч. К., конвоир пустил его одного. Мальчуган увидел, что воля открыта перед ним. Взял и ушел. «Поесть», главным образом, ушел. Дома узнал, что ни одно письмо его не доходило. Наелся всласть. Оставаться дома опасно—могут придти за ним. «Поеду я за хлебом?» — решил. Поехал. Проездил около недели. Возвращается, подходит уже к дому своему. Хват, около калитки его схватили и поволокли. Домой зайти не дали. Муку, пшено и сало—конфисковали. И вот он опять сидит, уже в В. Ч. К. — повышен чином — и в одиночке. Голодает опять. А француз, сидящий с ним в одной клетке, невероятно обжирается, французская колония московская — *«Трудовая Французская Куммуна»* (надо же лойальный ярлык надевать) таскает заключенным французам целые мешки таких припасов, которые даже Ванюшка-спекулянт дома у себя не едал. То и дело мне слышно, как француз хрустит белыми галетами (один раз он меня угостил такой галетой), опустошает жестянки с мясными консервами и сгущенным молоком, колупает яйца и пр. и пр.

Ванюшка лежит на полу на своей подстилке. Паек свой он с'едает утром с чаем за один присест и ложится спать до обеда. В обед с'едает свои полторы тарелки жидкого супа плюс «добавок» француза — пол тарелки (единственная вещь, которую тот ему дает от своего избытка, да раза два картошку вареную дал, правда) и дежурит у окошечка, не выставит ли кто из сытых недоеденный суп. Просит часового дать ему эти об'едки. С'едает их и ложится спать до ужина. В ужин повторяется та же процедура, что и в обед.

Бывает у него и десерт. Когда француз уходит в уборную, Ванюшка тихонько встает, подкрадывается к столу, где стоят припасы француза, быстро достает оттуда что-нибудь и также быстро с'едает. Потом ложится к приходу француза, как ни в чем не бывало. Обыкновенно в это время он громко заговаривает со мной, чтобы своим голосом заглушить свое шарканье в чужих вещах. Меня смешат его набег. Я чутко прислушиваюсь, не возвращаются ли француз, и внутренне желаю голодному Ванюшке успеть, как можно больше. Но много ли он успеет за 2—3 минуты...

20-го декабря.

В Чрезвычайке уже давно сидят китайцы, человек 8. За что они сидят, не знаю. Их постановили освободить. А они не идут: — «Моя здесь картошо.» —

Они все время работали на кухне, чистили там картошку, вообще исполняли все черные кухонные работы — кухня большая—для М.Ч.К. и В.Ч.К., и для заключенных и для караула. Ели они на кухне вдоволь и еще с собой приносили картошку. Ходили на кухню и с кухни, кажется, даже без конвоя. На воле голодно, холодно, на каждом шагу нужны документы. Здесь им сытно, тепло, можно жить без документов... А что вши едят, надзиратели покрикивают, свой брат арестант помыкает—так это, вероятно, и на воле в коммунистической республике, как

и во всем мире, для них достаточно. Бедная домашняя скотинка. Пригрели ее, прикормили и вдруг выгоняют на мороз . . .

Не знаю, удастся ли им остаться в теплом месте. Почему бы Дзержинскому не поручить им образовать при В.Ч.К. интернациональную коммунистическую ячейку. Они ничем не были бы хуже интернациональных коммунистических батальонов, тех самых, которые умирляли осенью 1918 года крестьянские восстания в Смоленской губернии. Решительно ничем.

24-го декабря.

Я с Ванюшкой веду дружбу. У него уже не хватает больше запаса сна на 22 часа в сутки, он очень огорчен этим и томится в долгие промежутки между утренним чаем и обедом и ужином. С трудом достала для него 2—3 подходящих книги. Читает он еще ничего. Пишет совсем плохо. Учю его писать. То и дело просовывается через щели в нашей перегородке листок от меня к нему или от него ко мне — с заданным или выполненным уроком.

Мы спорили с ним: я уверяю его, что он — спекулянт и вредный паразит для народа. Он защищается: какая это спекуляция, если он купил пудов 5 соли, когда она была дешева, а теперь меняет соль на хлеб, на пшено, на сало, сам ест и часть продает для оборота. . .

Какая бедная убогая жизнь . . . 8-ми лет от роду он остался сиротой без матери в деревне. Отец женился на другой. Мальчик стал жить по чужим людям. Летом пастухом, зимой работником. С 14-ти лет переменял занятие. Поступил мальчиком в какую-то городскую мастерскую. Переменял их несколько.

Недавно приехал в Москву к тетке. Тетка служит в Советской столовой и занимается спекуляцией нахватавшимся в столовой. Он попробовал. Понравилось.

«Меня зовут все *стариком*» — рассказывает он с удовольствием мне. — «Я не люблю ни с парнями гулять, ни

за барышнями ухаживать, и в карты играть. Даже табаку не курю. С'езжу за мукой, приеду, поем хорошо и спать завалюсь. Продам немного, опять поеду.»

Бедный мальчик. Он хвастает, что в 18 лет он похож на *старика* . . .

Когда он бежал, чрезвычайка решила, что он какой-нибудь опасный бандит. Ведь нарочно не выдумаешь такой глупый, ребячий побег. Таскали его в уголовный розыск. Сличали с карточками известных бандитов и сняли с него, в свою очередь, карточку. А перед этим, непосредственно, как изловили, его повели в М.Ч.К. и там жестоко били. По лицу и так. Один из бивших, по его словам, носил фамилию Пупкё. Этот особенно бил. Это, насколько я слышала, бывший максималист. Что общего у такого с максимализмом . . . Вероятно, в 1906 году принадлежал к одной из расплодившихся тогда шаек экспроприаторов, громко называвших себя максималистами после славного фонарного переулка . . .

Били его в М.Ч.К. в том подвале, где расстреливают. Толкнули его на пол, он упал и коленом попал в какую то лужу. Потом он рассмотрел, что это кровь. *Кровь от расстрелянных*. И сейчас у него штаны в кровавых пятнах на коленях.

Он рассказывал мне, как еще до его побега брали в М.Ч.К. из одной камеры для расстрела. Это была специальная камера смертников. Одного за другим уводили ночью. Приходил за ними «коммиссар смерти» — на вычурном языке коммунистов, а по русски — *палач*, бывший матрос Иванов. Это были все бандиты большею частью. С восхищением и уважением рассказывает Ванюшка, как шли некоторые бандиты умирать, — смело, гордо и весело. Последним оставался один старик. Он не имел никакого отношения к бандитам, попался за мелкую спекуляцию. Ждал он в смертельном темлении. Предпоследнего давно увели. Давно уже лежит он, наверно, с раздробленным черепом, а за ним все не идут. Наконец пришли. Не

бойся, старик», — говорят, — «тебя расстреливать не будем. Собирай свои вещи, пойдешь в другую камеру. —

Старик этот, чуть не попавший по обычной ошибке чрезвычайки в число жертв, и рассказывал Ванюшке об этой сцене. А бандитов, как они шли умирать, он сам как-то ухитрялся видеть.

Последнее время Ванюшке не спится, даже с вечера. Лежим мы с ним, отделенные досчатой перегородкой, — я на нарке, он на полу жмется в шинелешку, никак ног не согреет. Тихо беседуем. В нем тупости нет. В нем есть только какая-то тихость кроткая и пустота. Ни собственная жизнь окружающая, ничто и никто не вложил в эту полу-детскую оболочку своего содержания и она осталась еще незаполненная. Любой порок, любое преступление может пройти в эту пустую душу и завладеть ею всецело. Но также кто знает — может охватить ее что-нибудь светлое, положительное, если только толчек будет достаточно могучим.

Лежим мы с ним рядом. Только тонкие доски отделяют нас. Обоим не спится. Оба — признанные правительством вредными для благосостояния Социалистической Республики и должно быть одинаково вредными, раз одна мера пресечения к нам обоим. А какие разные существования...

В моем, треть без малого которого прошла за решеткой, было все — и радость борьбы и достижения, и мучительные искания с мрачными безднами пустоты, и боль утрат и поражений, и страдания и счастье, и жгучая ненависть, и горячая любовь...

А у этого мальчика — короткое беззаботное детство около матери и брата, потом длинный ряд годов по чужим людям без ласки, без света, с одним только стремлением побольше набить брюхо...

Есть еще у нас одно общее. Оба мы битые.

— «Ванюшка, больно было, когда били в М. Ч. К.»

— «Очень больно. По лицу особенно. Револьвером со всего размаху ударил меня этот, Пупков что ли. Я просил, чтобы не били, а они еще хуже. Я плакать хотел, а слез почему—не было. Почему это.»

— «А мне, Ванюшка, совсем не было больно, когда были меня. А здорово били, только не коммунисты, а царские городовые, человек 20. Барабанную перепонку перебили в одном ухе. Глаз один совсем занлыл»...

И я рассказываю мальчику, за что меня били тогда, за что держали *тогда* в тюрьме и за что держат *сейчас*.

Оба постовых красноармейца подошли к моему окопечку и внимательно слушают. У меня сейчас три слушателя, и у всех троих совсем ребячьи лица и наивные глаза. Сладко похрапывает сытый француз...

25-го декабря.

Ну, наконец-то расстанусь я со своей сквозной клеткой и попаду в тихую бутырскую одиночку с толстыми каменными стенами. Там не будешь день и ночь без передышки на глазах. Там можно будет заниматься, сноситься с товарищами. Не будешь чувствовать перманентного голода, будешь спать по-человечески, дышать, хоть в продолжении получаса, свежим воздухом, а окно открытым хоть целый день держи. Будешь видеть дневной свет не только через дырочку в двери. И главное, главное — не дышать этим гнилым воздухом провокации и холуйства, воздухом, отравленным смертельным ядом разложения человеческого духа...

Уже объявили Зерцаловым и еще нескольким, недавно пришедшим левым эсерам, чтобы собирались. Зерцаловых так и не допросили.

Кончается эта абсолютная оторванность от всего мира. За полтора месяца тут я услышала с воли только два слова: «Дела налаживаются». Но и эти два слова принесли мне много радости. При тех разгромах, которые волной прокатились по всем нашим организациям, при той бешен-

ной провокации, которая разлилась по ним, как река весной, — эти два слова и удивляют и радуют. А что касается этой стороны вольной жизни — разгромов и провокации — она и здесь известна хорошо. Чередой проходят через Чрезвычайку товарищи — калужские, тульские, самарские, тверские... И провокаторы здесь устанавливаются и разоблачаются. Иные из них только здесь нарождаются. Другие, уже готовенькие, действуют здесь во — всю. Но народ здесь, в этой академии провокации, — зоркий и чуткий, на чеку все время. И пожива здесь у этих Иуд очень скудна.

Прощай гиблое, проклятое, развратное мѣсто...

А. Измайлович.

1-е мая в Бутырской тюрьме.

(Письмо из Бутырок. Из „Бюллетеня Ц. К. партии лев. соц.-рев.“ от мая 1919 г.)

Пасха у нас в мужском одиночном корпусе прошла торжественно. Пахнула недавним «счастливым» прошлым. Амнистированные большевиками архиерей и несколько священников кадили и пели перед самодельным, но очень красивым алтарем, а умиленный предстоящей свободой преосвященный, по привычке, провозгласил даже многолетие, за отсутствием «благочестивейшего самодержавнейшего», коменданту тюрьмы. Два дня выдавали белый хлеб и удвоенную порцию мяса в «баланде».

Невольно возникал вопрос, как «социалистическое» правительство отметит в «социалистической» тюрьме светлый праздник труда, 1-ое мая. Время показало, что они были в этот раз настолько тактичны, чтобы никак не отметить. Ходили слухи о каких-то общих собраниях заключенных, об амнистии, последнее особенно между К.Р. (контр-революционеры) и П. Д. (преступление по должности). Мы же, левые Соц.,Рев. ко всем этим рассказам относились очень хладнокровно, зная, что на собрания, буде такие состоятся, нас не пригласят, а освобождение нам принесет революционный народ, а не чрезвычайники, именующие себя рабоче-крестьянским правительством.

Надо было, однако, найти какой-нибудь способ отпраздновать этот великий праздник рабочего Интернационала. Было предложено организовать в этот день голодовку — протест и выставить свои лозунги. Идея эта была принята с живейшим сочувствием и произошел первый случай — первомайской голодовки. Была выпущена листовка —

декларация и распространена между рабочими и крестьянами, находящимися в тюрьме. Там, где прогулки были общие, а потому возможно было совместно демонстрировать, решили принять участие в прогулке; что же касается строгих одиночек, в которых находилось 12 человек обычно гуляющих по одному, то последние нашли лучшим отказаться и от прогулки.

Начались оживленные приготовления. Уже с вечера появилось какое-то умиленно-торжественное настроение.

Наконец, вот и он — долгожданный. Утром поднялись пораньше, чтобы не проспять раздачу хлеба. Раздающего встречали предложением передать паек палачам, расстреливающим рабочих и крестьян.

В восемь часов вывешиваются лозунги и плакаты. На мужской одиночке, на стороне, обращенной к женским одиночкам, появляются в одном углу, в третьем этаже, красное одеяло с крупной надписью: «1-ое мая стало царским днем». «Да здравствует свободный праздник труда». На той же стене и в этом же этаже, по середине, выделяется красная рубаша с лозунгом: «Колчака — к Мирбаху, комиссаров — в «санатории» (бутыцкий, разумеется); в другом углу — красивый большой стяг и на где-то добытой материи: «Да здравствует 1-ое мая. Да здравствует Партия Левых Социалистов-Революционеров Интернационалистов.»

На женском красуется большой красный щит с подобными же лозунгами. Из одного окна четвертого этажа высовывается древко развевающегося красного знамени. Ниже плакат — «с гербом коммунистической партии»: тюремная решетка со скрещенной на ней штыком и палкой.

Все мы, одиночки обоих одиночных корпусов, у окон. Запевают «Интернационал». Могучие звучные аккорды гордо звучат в тюремных дворах-колодцах и выливаются за ограду, на «волю». Поют с одушевлением, вдумываясь в каждое слово гимна труда. После его окончания на

несколько минут водворяется молчание. За первой песней следуют другие.

«Долой тиранов, прочь оковы», гремит хор, «не надо больше рабских пут».

Твердо и сосредоточенно звучит:

«Если погибнуть придется,
В тюрьмах и шахтах сырых,
Дело само отзовется
На поколениях живых» . . .

Во время пения на дворе появляется нагло-трусливая фигура кого-то из тюремной администрации. Воспользовавшись перерывом между двумя песнями, она вдруг кричит: «Эй, вы там, слезьте с окон!» Небольшое молчание, вызванное неожиданностью оклика, сменяется бурей негодующих возгласов: «Палачи! Царское охвостье!» «Попа пасху праздновать можно, а социалистам 1-ое мая нельзя! Вон отсюда!» — Фигура стушевывается.

Пение кончилось. Начинаем переговариваться через окна. Вспоминаем, где и как приходилось праздновать этот день. Один провел этот день тоже в тюрьме, только царской, другой участвовал в демонстрации с кровавым концом. Вспоминается тот же день двух последних годов: один 17 года — с ярким свободным порывом, другой 18 года — уже под ярмом Бреста и усиливающейся диктатуры над трудящимися партии большевиков. Вспоминается этот ужасный, но тем не менее великий своими страданиями год: Прошьян, Александрович, Мина Капелуш, десятки других имен и сотни и тысячи безымянных. Грусть набегаёт на душу. Поем: «Вы жертвою пали . . .» Потом водворяется молчание . . .

Через несколько минут вдруг издали доносятся звуки революционного напева. Из женских одиночек кричат нам, что это на дальнем дворе вышел на прогулку 12-й коридор (общие камеры), где большинство наших. Они демонстрируют с красным знаменем и с такими же боевыми лозунгами.

Наших в тюрьме 130 человек, и все в разных коридорах. Поэтому во все время прогулок звучат голоса то одной, то другой гуляющей группы левых соц.-рев. Возобновляется пение и у нас.

Подходит время и нашей прогулке. Все мы отказываемся гулять. Только Шрейдер делает вид, что отправляется гулять, но вместо этого переходит в одну из камер, где уже скопилось 4 человека. Вызванный комендант нерешительно упрасивает его возвратиться в свою камеру, но после твердого отказа скромно удаляется.

Приходит время обеда. Во дворе появляется посол В.Ч.К. некий Кампелла, следователь, хорошо известный нам, заключенным одиночного корпуса. Он сидел здесь за какие то художества, видимо довольно значительные, ибо был посажен, несмотря на свои «заслуги» (исполнения роли «коммиссара смерти», собственноручно расстреливавшего своих клиентов). Вырвался из Бутырки тоже довольно своеобразно. Уверая надзирателя в своей невинности, он уговаривает его сходить за керенку с запиской к своей жене. Семейный надзиратель соблазняется фунтом хлеба для детишек и идет с запиской. Жена (было, повидимому, условлено) немедленно сообщает в В.Ч.К. Надзиратель арестовывается, а судебный следователь за усердие освобождается и вновь принимается на службу. Надзиратель сидит до сего времени в освободившейся камере судебного следователя.

Его физиономия с закрученными рыжими усами на несколько мгновений появляется на дворе, окидывает окна и удаляется, провожаемая возгласами и громко провозглашаемой характеристикой. Это было последнее появление «власти» в этот день. Она смирились и не пыталась более помешать нам.

Над тюрьмой проносятся взад и вперед аэропланы, как бы купаясь в темно-голубом небе.

На дворе прогулки «нестрогих» одиночек. Они гуляют все вместе. Черносотенцы, не открывавшие весь день

окон, выйдя на прогулку, решили демонстрировать и устроили парад с маршировкой рядами под звуки английской солдатской песенки, которой научились от недавно выпущенных отсюда англичан.

Образовавшаяся в Бутырской тюрьме коммунистическая ячейка из педеков (преступление по должности), поставившая своей целью путем шпионства и провокации среди товарищей по заключению добиться от чрезвычайки помилования, присоединилась к черносотенцам и получилось, как удачно выразился один из гулявших, «объединение контр-революции колчаковской и ленинской под знаменем английского империализма».

Вообще же нужно сказать, что эти отбросы общества из воров и взяточников, назвавшихся коммунистической ячейкой, является своего рода властью и над заключенными, и над администрацией тюрьмы. Нам приходится быть очень осторожными в общении друг с другом. То нравственное падение большевиков, которое наблюдается решительно всюду, не исключило даже и Бутырок. Культ шпионства, провокаторства и сыска широко развит и здесь. Ему поклоняются даже и те, кто, быть может, завтра будет расстрелян.

Вся эта банда долго демонстрировала свою приверженность Ленинскому строю.

Наконец, она удалилась. Возобновляется пение. Произносятся речи. Оглашается декларация. Голода почти не ощущается.

Радостно-праздничное настроение сохраняется до позднего вечера. После теплой дружеской беседы расходятся по домам, т. е. слезаем с окон и затворяем рамы. Расходимся с твердой верой в победу международной социалистической революции и с неприклонной решимостью всеми силами бороться за нее. Невольно думается, что наше празднование первого мая было одним из самых «свободных» в социалистической России.

„Вы арестованы!“

— «Вы — арестованы!»

С таким приветствием встретил меня чрезвычайник, когда я перешагнул порог конспиративной квартиры левых С-Р. по 11-ой линии на Васильевском острове 15-го февраля 1919 года.

— «Почему, за что?»

— «А вот почему» — закрыв на ключ дверь и вытащив из кармана бумажник, торжественно достал он из него ордер, выданный Петербургской Областной Чрезвычайной Комиссией, где говорилось, что подлежат аресту все, кто придет на эту квартиру.

— «Пройдите сюда», — он показал на дверь, — «мы вас обыщем».

Я вошел в небольшую комнату, в которой до засады часто собирались партийные товарищи на совещания. Сейчас в ней были заметны еще следы разгрома.

На стуле около двери сидела арестованная и уже «обысканная» Т. Д. Р-кая, которая, увидев меня, дала на мой легкий кивок головой, знак глазами: «мы, мол, чужие и не знаем друг друга».

Около стола сидела в подавленном настроении квартирная хозяйка с мальчиком на руках.

Из дверей другой комнаты, которая служила спальней, вышел еще сотрудник чрезвычайки, после чего оба они приступили к «обряду» обыска.

Во время обшаривания карманов, старший по чину допрашивал меня:

— «Вы пришли сюда за литературой или на заседание? Часто ли вы посещаете эту квартиру?» и т. д.

Я старался отмалчиваться, так как приобретенные подпольные уроки и опыт говорили мне, что не нужно открывать карты, пока не выяснена личность арестованного, не предъявлено ему обвинения и т. п.

После обыска чрезвычайники о чем-то таинственно пошептались и один из них вышел из квартиры. Впоследствии я узнал, что вышедший сообщил на «Гороховую, 2» о новой своей «добыче». Оттуда было отдано распоряжение доставить нас немедленно в Чрезвычайку.

Время было около 7-ми часов вечера, когда мы тронулись в путь. На углу 6-ой линии и Среднего проспекта, около газетчика я заметил своего знакомого, молодого парня, жившего в одном со мной доме.

Мне было важно, чтобы он передал моим «хозяевам», что я арестован. Я попросил конвойного разрешить мне купить вечернюю газету и получил согласие, но парень никак не мог понять меня. В то же время конвойный давал мне знак, чтобы я не задерживался.

— «Да что Вы, оглохли что-ли. Передайте в № моей квартиры хозяйке Анне Ивановне, что я арестован» — громко сказал я. Когда я отходил от газетчика, у меня мелькнула блестящая мысль побега, но я боялся, что мой побег может отразиться на судьбе Р—кой, тем более, что, как мне было известно, чрезвычайниками было отдано распоряжение пристреливать не только бегущего, но и остающихся, и этот план также скоро отпал, как скоро он возник.

Несмотря на вечернее время, «жизнь» на Гороховой, 2 была ключем. Люди, арестованные проводились туда в одиночку и целыми пачками.

В регистрационной комнате, где чрезвычайник записал в какую-то книгу мою фамилию и предложил мне добровольно сдать деньги и ценности, предупредив, что если не сдам, то при обыске у меня конфискуют их. Я сдал 350 руб., но как водится в этом «образцовом» учреждении, мне не выдали никакой расписки или квитанции.

«Столоначальник» регистрационной комнаты отдал распоряжение, чтобы нас отвели в комендантскую комнату, и, как по мановению волшебной палочки, явилась кожаная куртка, забрала несколько «преступников» и, командуя: «на право, в дверь», «на лево, по лестнице» и т. д., повела дальше.

«Комендантская комната» немногим отличалась от лавки старьевщика. Тут были в беспорядке разбросаны пашки, зонтики, тросточки, чемоданы, узлы с вещами и т. п.

За прилавком стоял здоровый, сытый салдафон, который грубо, грубо до цинизма, обращался со своими «клиентами», требуя, чтобы отдавали все золотые часы, ножики, письма, деньги и т. д.

Хотя в его обязанность не входило спрашивать, где и за что арестован, но, разыгрывая роль начальства, он входил в соблазн и задавал ряд вопросов с колкостями.

— «Твоя как фамилия. Ты похож на финского шпиона» — обратился он ко мне, делая, очевидно, вывод, что раз на голове у меня финская шапка, то я являюсь «непременно шпионом».

— «Нельзя ли повежливее; я не шпион, а революционер» — ответил я.

Когда сей чрезвычайный муж узнал, что я арестован в засаде на конспиративной квартире левых С-Р., то он был готов тут же растерзать меня.

— «Больше денег нет?» — спросил меня чрезвычайник.

— «Нет.»

— «Вот получи четыре рубля на расходы, а сто рублей я отбираю.»

Мне показалось как-то обидно: только что до меня обыскали одного «буржуазного элемента», который был задержан на финляндской границе и у которого при задержании оказалось более пятидесяти тысяч, но ему чрез-

вычайник оставил более ста рублей, а мне — четыре руб., на которые я мог купить только пять номеров «Северной Коммуны».

— «А это кто, тоже левые эсеры» — спросил меня чрезвычайник, рассматривая отобранные у меня фотографические карточки моих друзей А. Н. Махнева, Мисуно и Георгия Ч.

— «Да, это — левые эсеры.»

— «А где они.»

— «Двое из них», я указал на Махнева и Мисуно, — «расстреляны большевиками».

— «Мало вас расстреливают» . . . — «Подходи следующий.»

После обыска нас привели в «комнату для арестованных», где сидело уже несколько человек, арестованных по делу левых С-Р., в том числе писатели: Алексей Ремизов и Лемке, которого после допроса освободили.

Также после допроса освободили т. С-ву, которая превосходно разыграла роль «спекулянтки», хотя она была задержана тоже в засаде на лево-эсеровской квартире, но под чужой фамилией.

До вызова к следователю, ко мне подошла Р-кая и шепнула:

«Обратите внимание на сидящего моряка. Я почему-то думаю, что он наш. Поговорите с ним.»

Через несколько минут я сел рядом с матросом. Его открытое лицо, добрые глаза внушали к нему полное доверие.

— «А вы за что арестованы» — обратился я к моряку.

— «У меня нашли лево-эсеровские прокламации».

— «Много нашли?»

— «Несколько штук. Да ведь и смешно, что меня арестовали, когда эти же прокламации имеются не только у матросов, но даже в караульном помещении у нас они переписаны на стенах, где каждый может читать их сколько угодно.»

— «А вы давно служите в Береговом Отряде?» — спросил я.

— «Не так давно. Я ведь черноморец» — с какой-то гордостью ответил моряк.

— «Что же заставило вас приехать в Балтийский флот.»

— «Как что заставило. Революция заставила». При этих словах мы посмотрели друг другу в глаза.

Когда он узнал мою фамилию и то, что я арестован тоже, как левый с-р., он стал откровеннее. Мы разговорились . . .

— «Вы ведь, наверное, знаете про Черноморскую трагедию?» спросил он меня.

— «Да, я слышал кое что и очень интересуюсь этим вопросом — ответил я.

— «Так вот, когда германское командование поднажало на правительство Ленина, чтобы оно выдало весь боевой флот Германии, тогда конечно, все честное, революционное на Юге встало на дыбы. Отдать флот, чтобы он бомбардировал революцию . . .»

— «Никто не соглашался, даже крымские большевики не подчинились в этом центральной власти. Таманская армия также протестовала, потому что с отдачей флота обнажился ее тыл с моря» . . .

— «Нельзя ли потише говорить — попросил я своего собеседника.

— «Это ведь не секрет», — ответил мне моряк, продолжая свою повесть. — «Когда мы получили ультиматум от Ленина сдать флот (часть этого флота стояла в Новороссийске), этот ультиматум не помог. Мы еще крепко стояли на революционных позициях. Тогда, чтобы разложить единую революционную душу моряка и рабочего, крестьянина и солдата, из центра приехали злополучные Раскольников и Шляпников. Они завершили предательскую работу».

— «Местные большевики подчинились центру. Часть флота пошла в Севастополь, а другая часть решила лучше погибнуть, но не сдаваться. Эти корабли, во главе с дредноутом «Свободная Россия» были выведены недалеко в море и . . . потоплены. Некоторые моряки не пожелали сойти со своих кораблей и пошли на дно вместе с ними» . . .

— «Ш—н, к следователю», — приотворив дверь, крикнул часовой.

Прощаясь с моряком, я спросил его:

— «Много ли вас, черноморцев, приехало в Балтику.»

— «Да, мы ведь приехали во главе с тов. Ш-ковым» — ответил он мне. — «Вы его знали?»

— «Знал» . . .

— «Это был действительно революционер и любимец черноморцев, и большевики все таки расстеляли его — . . . — пожимая мне руку, торопясь, говорил моряк . . .

После допроса «следователем» — всех нас, кроме женщин, перевели в известную многим петербургским гражданам комнату № 96.

Здесь происходило что-то невероятное, неподдающееся описанию. Люди спали на одной койке по двое, спали под койками, в интервалах и в проходах между койками.

— «Осторожно, не наступите на ноги» — сказал мне кто-то, впереди идущий.

Несмотря на адскую тесноту и хаос (в двух небольших комнатах помещалось до 200 человек) и несмотря на то, что часть людей спала, в № 96 было оживленно. Велись беседы и споры, играли в шашки, распрашивали друг друга о порядках, царящих на Гороховой. В комнату то и дело проводились и уводились новые лица: на допросы, на освобождение . . . и, быть может, на расстрелы.

Народ самый, что называется, разношерстный. Вполне можно было бы сказать словами Пушкина:

«Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний.»

И, действительно, здесь можно было видеть людей разных национальностей и социального положения: и англичанина, и перса, и шведа, и сына страны восходящего солнца, финна и грека, сиятельных князей и батрацких батраков, выхоленную фигуру «спеца» с генеральскими лампасами и целую серию скромных мобилизованных красноармейцев, неподчинившихся своим военрукам, как вдохновителям «каленого утюга», бунтарей матросов и целые пачки рабочих с разных фабрик и заводов. Здесь были представители всех существующих и существовавших партий и союзов.

— Здесь, в комнате № 96, я встретил ряд знакомых товарищей, в том числе рабочего Д., на квартире которого я был арестован, и членов фракции левых с-р. Петербургского Совета С. Я. С. и Б., рабочих депутатов от Трубочного завода.

— «Где попался» — спросил меня Д.

— «У тебя был в «гостях.»

— «Здорово. Ну, а что там делается теперь.»

— «Сидит засада. Видал твою супругу и Колю.»

— «Не знаю, что будет с ними», — тяжело вздохнув, продолжал он, — «Средств никаких не оставил, партийным товарищам придти нельзя... Умрут с голоду».

— «Ничего, успокойся. Засада будет сидеть недолго, да, возможно и тебя скоро освободят».

— «Неужели ты думаешь, что освободят. Скорее всего расстреляют» — проговорил он. — «А что у тебя нашли,» — спросил я.

— «Как, что. Все забрали: склад литературы, и все другое.»

Далеко за полночь еще продолжался наш разговор. Нужно было ложиться спать. Я заметил «свободное» место: на двух сдвинутых койках лежали два человека — я прилег между ними. Не прошло и пяти минут, как меня будят:

— «Что же вы забрались на чужое место. Слышите ли, уходите.»

— «Что такое?» — Подняв голову, спросил я.

— «Место освободите, вы забрали мое место, я на нем ложал.»

Передо мной стоял незнакомый рабочий. Делать было нечего, пришлось оставить «постель». Приискав себе другое место — на полу между койками, — я снова, не раздеваясь, прилег.

Утром движение началось рано. Чаепитие, раздача газет, чтение и т. д.

К вечеру число населения комнаты увеличилось. Привели поэта А. А. Блока, арестованного, как левого эсера. Первое, что он спросил у нас это — о судьбе Иванова-Разумника, который тоже был, как левый эсер, арестован и, как мы впоследствии узнали, уже отправлен в Москву.

Во время моего пребывания на Гороховой, однажды в комнате № 96 показался «гроза и укротитель» дома сего — комендант Г—н.

— «Тише, тише,» — раздались голоса, — «Комендант пришел».

— «Мерзавец», — пробормотал тов. С-ий, сидевший рядом со мной.

— «За что вы его ругаете», — спросил я.

— «Да как же — он отобрал у меня и тов. Б. хлеб, около 4-х фунтов.» Никому ничего не говоря, комендант повернулся и ушел. Гул голосов снова воцарился под сводами комнаты. Обсуждали, зачем появился этот зловещий человек.

— «Может, брат на расстрел кого-нибудь», — подавленным голосом проговорил незнакомый нам собеседник.

— «Если брат на расстрел, так и взял бы» — ответили ему.

— «Хотя, конечно, но...», — смешался незнакомец. — может, забыл список».

— «Небольшой человечек, а сделал какое дело», громко сказал К—н.

— «Какое дело», — заинтересовался кто-то из присутствующих.

— «Да ведь Г—н является убийцей Кокоскина и Шингарева», — пояснил К—н.

У многих из присутствующих на лицах появилось удивление.

— «Но позвольте» — возмущался один из арестованных, — где же правда, где законность, ведь сам Ленин писал о сожалении и клеймил этот акт недостойным революции. . .»

— «Ну так что же, — вмешался в разговор молодой, оставшийся не у дел, дипломат, — «Ленин может писать, а Чрезвычайка не исполнять. При чем тут личность Г. Если бы не было Г., убийства в застенках все равно процветали бы. Система, господа, система. Ленин поступил, когда он писал свое негодование, так, как поступил бы каждый правитель более или менее культурной страны. Вспомните резню несчастных армян и Абдул-Гамида. Разве последний не изливал свои сожаления и не обещал наказать виновников. Я бы мог привести ряд фактов более или менее крупных, но цена им-одна». . .

Разговор о «системе», об Абдул-Гамиде, о Г—не, об этом «рыцаре смерти», получившем первое свое «боевое» крещение убийством незащитных больных людей и ставшим «идеологом» и вдохновителем так называемого, по большевистской терминологии, «красного террора», — эти разговоры принимали широкие размеры, но в это время из дверей раздался голос старосты: «прошу получить хлеб», — все голодные разом поднялись с мест и шум прервал беседу.

На четвертый день ареста еще утром староста сообщил, что сегодня будет отправлена в «Предварилку» партия арестованных. И когда, наконец, здесь, в комнате № 96, был прочитан список отправляемых, то началось

настоящее столпотворение. Кричали, смеялись, толкались, собирали и укладывали вещи и т. п. Наконец, нам снова сделали перекличку, вывели на двор, построили по четыре человека в ряд, какой-то «комиссар» сказал «напутственное» слово, и мы тронулись со двора.

— «Ну, прощай Гороховая. Чтоб больше тебя не видеть» — говорили уходящие.

Да, хорошо бы никогда не видеть эту ужасную клоаку. Это самый мрачный застенок из всех застенков. Быть может, будущий историк, поборов отвращение, заглянет под крышу этого дома, и наши дети узнают о вопиющих преступлениях, фактах, перед которыми «дела» священной инквизиции окажутся слишком бледными.

— «Товарищи», — сказал один из конвойных, — «пожалуйста, здесь на главной улице, идите хорошо и не разговаривайте. Нам не жалко, но за это нам попадет».

— «А как письмишко-то,» — спросил один из арестованных.

— «Все устроим» — ответил красноармеец.

На Миллионной улице, около Павловских казарм нами устроен был первый «привал». Здесь мы немного отдохнули и двинулись дальше.

Когда вышли на набережную, где око начальства уже не видит, тогда по рукам пошли передаваемые открытки и письма по направлению к одному красноармейцу, который дал согласие бросить их в почтовый ящик.

Проходили мимо здания Окружного Суда.

Рядом-незаметно стоявшая громадная тюрьма, носившая скромное название: «Дом Предварительного Заключения».

У самых ворот тюрьмы, в ожидании арестованных, столпилась кучка людей.

— «Вот что, барышня,» — обратился плаксивый старикашка к стоявшей недалеко незнакомой ему девушке, — «позвоните по телефону (он назвал №) и сообщите, что

я арестован и переведен в Предварилку. Моя фамилия — Ясинский. Ну, не забудете писателя Ясинского».

— «Хорошо, хорошо г. Я., исполню» — ответила барышня.

— «Да разве вы—писатель», — спросил кто-то из арестованных этого плаксивого, седого ребенка, который еще на Гороховой надоел каждому, назойливо рассказывая, что он не контр-революционер, а простой обыватель, ехал в трамвае и несочувственно отнесся к большевистской власти, вот и арестован каким-то комиссаром.

— «Нет, я — не писатель, однофамилец» — ответил старик.

Открылась тюремная калитка и мы вошли во двор, где нас снова пересчитали и затем ввели в контору тюрьмы. Большая комната, в которой стояло несколько шкапов с «делами», столов, за которыми сидели служащие-барышни и записывали: кто такой, откуда, и спрашивали даже какой национальности и какого вероисповедания.

Часть арестованных тюремный надзиратель перевел в небольшую комнату рядом. Напротив, от двери, там стоял шкаф, в котором помещался телефон, и, не помню, кто-то из наших товарищей начал звонить, но был накрыт «на месте преступления».

В углу стояли красные знамена с лозунгами, конечно: «пролетарии всех стран, соединяйтесь», а также траурные, где большевистские тюремные церберы клялись отомстить буржуазии и помещикам. На стенах, в тех же рамках, в которых красовались портреты «Их Императорских Величеств», теперь были помещены портреты новых хозяев тюрем: Ленина, Троцкого и Зиновьева.

Мы условились, по возможности, поместиться, если не в одной камере, то, по крайней мере, на одном коридоре или галерее. Но наши намерения разбились о тюремную действительность. Часть товарищей пошли в одиночные камеры (в том числе был А. З. Штейнберг), а большинство — в общие.

— «Б., К. и ты, «Ходя» (последнее относилось к арестованному китайцу), — читает надзиратель, — пойдете на 2 коридор».

— «Товарищ», — сказал он одному из своих коллег, — «заберите их».

Надзиратель, приведший нас на 2-ой коридор, сдал отделенному, а последний приступил к распределению по камерам.

Камеры (общие) отделялись от коридора сплошными железными решетками, около которых толпились люди, подобно зверям в зоологическом саду. Спрашивали нас, сколько привели с Гороховой, какие новости на воле и т. д.

— «Постовой», — обратился отделенный надзиратель к своему подчиненному, — «прими вот: Бел—а, Б—а и Шабалина. Обыщи и посади их в камеру № 10.

Обыск был произведен самый поверхностный, после чего надзиратель открыл дверь, и мы вошли в небольшую камеру. В противоположной от двери стене были два больших окна, нижние стекла которых наполовну были матовые. В углу, около одного окна находилась «уборная», отделенная железной перегородкой. По середине камеры стояли два стола грубой, «топорной» работы, испещренные вырезанными надписями, где каждый житель камеры почему-то хотел вырезать на этих скрижалях свою фамилию. Около этих столов стояли две скамейки.

К этой обстановке нужно прибавить еще 14 «коек» или, вернее, 14 рам, на которых была натянута парусина. Один конец каждой такой рамы был прикреплен к стене, и в «доброе старое» время эти рамы днем поднимались для того, чтобы было больше чистоты и свободного места в камере.

— «Где же спать мы будем,» — обратился Б. к камерному старосте.

— «Придется устроиться на столах и еще где-нибудь», — ответил староста.

Когда мы так рассуждали о неудобствах ночлега, по коридору раздался чей-то голос: «За ужином». После чего из камеры № 9, сломя голову, побежали четыре человека на кухню. Нам, «новичкам», была выдана одна большая миска, каждому—по деревянной, хлебальной ложке. Давая последнее, староста предупредил, сказав: «потрудитесь вымыть: они очень в плесени», и, действительно, ложки были покрыты чуть ли не мохом.

Ужин получила сначала камера № 9, так как она была дежурная и поэтому она пользовалась очередной «привилегией». В очередь с миской за ужином от нас встал Б. Он принес нам какую-то мутную водицу, на поверхности которой плавало штук 6—8 клюкв.

Несмотря на крайне плохое качество этой «баланды», голод заставил нас с'есть все содержимое миски.

После ужина дежурный принес два ведра кипятку для чая. Но нам пришлось отказаться от чаепития, так как не только чаю, сахару, но не было даже и посуды . . .

Еще до «поверки» камерный староста записывал фамилии прибывших для своего «делопроизводства». После опроса, он подошел ко мне.

— «Ваша фамилия?»

Я сказал.

— «Очень приятно. Я вас знаю». — дружески протягивая руку, мило улыбался камерный начальник. Он назвал себя морским офицером Филатовым, плававшим на «Олеге».

— »Откуда вы меня знаете.»

— «По Ревелю, и, если не ошибаюсь, вы редактировали журнал «Шторм».

Мы разговорились с ним. Он интересовался, за какие преступления попал я в тюрьму, о положении на воле и т. д. Я расспросил его, кто и за что сидит среди находящихся в камере.

— «Вот этот сидит за свою фамилию», — указал он на солидного мужчину.

— «То-есть, как—за фамилию,» — спросил я.

— «Его фамилия—Вяземский. Он инженер. Большевики думают, что он—князь, и вот, он сидит уже несколько месяцев».

— «Вот Зорин, арестован за то, что выругал комиссара из чрезвычайки. Интересно, что и комиссар этот сидит здесь. Вы с этим будьте осторожны» — показал он глазами на другого молодого человека, который сейчас о чем-то торячо спорил с Вяземским. — «Он — чрезвычайник. Сидит за взятку, мало взял: всего 500 рублей, еслиб больше, то, конечно, не «попал бы»...

Несмотря на раннее вечернее время, большинство заключенных в камере лежало на постелях.

— «Почему так рано ложатся,» — спросил я Филатова.

— «Голодно и холодно. Некоторые очень редко поднимаются, заголодали... Теперь еще хорошо: хлеба дают полфунта, иногда четверть на человека, а что было раньше: пухли, не вставали с постелей, падали, были случаи—из камеры выносили мертвых... А вы, знаете, был такой случай, о котором нам рассказывал Вяземский, что он может вам подтвердить: В одной тюрьме сидел некто Иванов, который заголадал и заболел нервной болезнью. Он за что-то оскорбил начальство: его посадили в карцер, не давая пищи. Карцер помещался в нижнем этаже тюрьмы. На дворе бегал тоже голодный щенок. Иванов из окна карцера приласкал щенка, схватил его через решетку, разорвал и стал есть сырое мясо».

— «Вы ужасаетесь», — заметив на моем лице признаки сожаления и возмущения, спросил Филатов, — «но это еще не все. После такого блюда, при слабом организме Иванова, он умер в карцере»...

Мне стало не по себе и я перебил Филатова:

— «Не пора ли ложиться спать: времени у нас впереди еще много, поговорим после».

Пришедшие со мною товарищи уже расположились: один — на столе, другой — на скамейках. Для меня осталась дверь, оставшаяся от пожара Окружного Суда и принесенная в камеру «на всякий случай». Я расположился на ней. В моем распоряжении имелось только короткое пальтишко, а холод в камере стоял невероятный... Судороги стягивали ноги. Я пробовал ночью ходить по камере, но это не помогало. В то же время мне ярко рисовалась картина из рассказа Филатова, как несчастный заключенный в карцере разорвал живого щенка и ел сырое мясо. Мне представилось, как раскрылась тяжелая дверь карцера, вошли люди, быть может, прямые виновники этой трагедии, и нашли в сырой каморке на полу два трупа. И еще тяжелее стало переживать мне эту картину, когда я вспомнил тех своих друзей-левых эсеров и максималистов, которые в царские времена томясь в Вятской тюрьме, изголодавшись, ловили собак и готовили из них пищу.

Не зная еще о своей дальнейшей судьбе, не зная, сколько мне самому придется голодать и спать на голых досках, смыкая глаза, я мысленно приветствовал своего друга А. С—кого, старого революционера, пробывшего 8 лет на каторге и теперь, как революционный народник, он снова томится в застенке большевистском, питаюсь мясом собак.

Рано утром меня поднял дежурный по камере, так как ему надо было выбирать с полу в ведро воду, которая в изрядном количестве натекла со стен. Моя кровать мешала ему выполнить эту операцию.

— «Ну поднимайтесь же. Какого чорта. Смотрите, что набежало воды.» С засученными рукавами и тряпкой в руках стоял дежурный, проклиная на чем свет стоит и тюрьму, и большевиков, и зиму, и воду и т. д.

Приведя камеру в порядок, уборщик принес кипятку. Я получил кусочек хлеба, немного отогрелся.

После обеда, который ни чем по качеству не отличался от ужина, нас вывели на «прогулку». Прогулка была на том дворе, который так хорошо описал Н. А. Морозов в своей «Повести моей жизни». Только перегородки были убраны, а наблюдательная башенка осталась в таком же положении. Во время прогулки происходили разные разговоры, сообщались друг другу новости и т. д.

Вернувшись с прогулки, нужно было заботиться о «хозяйстве», главным образом, о чайной посуде. Среди заключенных было развито свое стаканное производство. Стаканы, и довольно замечательные, приготавливались при помощи несложных операции. Нужно было только достать бутылку, из которой и вырезался стакан. Бутылка обматывалась в одном месте ремнем, хорошо уравнивается с той стороны, с которой предполагается разрезать бутылку. «Резанье» производится при помощи тонкого шнура или шпагата, два человека «пилят» бутылку для того, чтобы она нагрелась по всей окружности предполагаемого разреза. Обыкновенно через несколько минут бутылку достаточно нагревалась под шнурком. Тогда кто либо третий льет на бутылку холодную воду. Стекло раскалывается от быстрого охлаждения в том месте, которое трением было нагрето. Таким способом обзавелись более или менее удачно получавшейся посудой.

По понедельникам, средам и пятницам тюрьма обыкновенно заметно оживала, так как в эти дни приносились «передачи». По постановлению начальства, здесь тоже была введена «коммуна. Каждый получавший передачу был обязан выделить одну третью часть на данный коридор для не получавших. На нашем коридоре бралось из с'естных все, кроме супа и молока.

В первых числах марта в тюрьме произошли — «великие» перемены. Вечно пьяный и грубый комендант — латыш был убран властью «на покой» и на его место вступил Г—ко.

Многие арестованные уже знали его по «Дерябинке», военной тюрьме, где он тоже «комендантничал». О нем отзывались как о строгом, но любящем порядок, человеке и «идейном» большевике.

— «Значит, судьба скоро опять столкнет меня с Г—ко» — сказал однажды Филатов.

— «Разве вы его тоже знаете», — спросил я.

— «Как же. Мы с ним плавали вместе на «Полярной Звезде».

— «Ну как, что он из себя представляет», — заинтересовался я.

— «Он был фельдфебелем срока службы, кажется, с 1905 г. Он остался «на шкуру». Замечательный танцор, так что Николай 2-ой за танцы подарил ему золотые часы. Ну, конечно, Г—ко любит выпить. Но, откровенно говоря, мне не желательно с ним встретиться снова», — продолжал камерный староста — «у меня была с ним неприятная сценка.» —

— « Не секрет», — спросил я.

— «Только прошу здесь, в тюрьме никому не говорить. Я был над ним судьей. Он судился «за взятие» сапог. Встреча будет неприятная, что и говорить, тем более, — мое положение» — закончил Филатов. (Слова Филатова передаю точно. Как видно из газет, он уже расстрелян.)

Наконец-то на горизонте Предварилки появилась «новая звезда». Окруженный свитой других тюремщиков, Г-ко обходил свое царство, «милостиво» разговаривая с заключенными, он обещал улучшить режим тюрьмы.

Но это «улучшение» так и не отразилось на жизни арестованных, хотя им и делались кое-какие шаги. Но это были жалкие потуги на «очищение» атмосферы. Так он уволил несколько проворовавшихся надзирателей, вина которых была лишь в том, что они тащили «неорганизованно».

Один раз, идя на кухню за кипятком, я видел Г-ко на «центральной посту», где он ругал на чем свет стоит какого-то надзирателя, обещая поставить его к стенке.

В чем провинился этот жалкий, безвольный раб, я не узнал. Исполнил ли «добрый» Г-ко свое обещание, я также не узнал.

Кстати, о расстрелах.

Аппарат уничтожения людей в застенках был «усовершенствован» большевиками, как никогда. Предварилка в короне Дзержинского блистала крупным жемчугом и давала большой процент смертников, большая часть которых сидела в нижнем этаже в строгих одиночках, ожидая своей очереди, когда за ними придет «комиссар смерти» Е.

По «слабости» тюремной администрации смертники находились иногда и в «общих».

Когда приговоренных «уводили», тюрьма притихала, подобно лесу перед грозой. Тихонько передавали из камеры в камеру эти страшные слова: «взяли на расстрел».

После этого заключенные собирались кучками и вели беседу. Кто вспоминал, как уводили смертника из камеры и что он говорил. Кто высказывал свои мысли, как он сам будет держаться, когда его «возьмут». Ведь никто не был гарантирован, что его не возьмут завтра, после завтра или через неделю.

— «Кто же теперь производит расстрелы?» — спросил я один раз у беседовавших.

— «Конечно, не Николай, а большевики» — ответили мне.

— «Вы не поняли меня. Я знаю, что по воле большевиков. Но ведь Зиновьев или Колонтай сами не расстреливают» . . .

— «Видите ли, раньше расстреливали красноармейцы из Чрезвычайки» — сказал кто-то из присутствующих, — «но красноармейцы отказались, и стали расстреливать ки-

тайцы. И китайцы не выдержали и отказались. Теперь расстреливают надзиратели-коммунисты. Эти, конечно, не откажутся. Дисциплина».

— «Интересно», — продолжал собеседник — «перед «работой» их кормят на кухне, дают особый комиссарский обед и по стакану вина. Да еще получают с расстреленных одежду.»

— «За мое пребывание», — сказал З-н, — «из этой камеры взято уже пять человек». Он стал показывать с каких коек взяли. — «На вашей койке, Иван Андреевич», — обратился он ко мне, — «тоже лежал смертник».

— «А где же расстеливают?» — спросил я.

— «А где придется. Большевики ведь хитрые: чтобы не слышали, когда расстреливают, заводят автомобили или мотоциклет, которые трещат, а они в это время и жарят из револьверов» — ответил все знающий З-н.

Вскоре население нашей камеры увеличилось тремя финнами, по фамилии Пека, одним торговцем-евреем Ш... и обвинявшимся в провокации Романовым. Последний был, как я помню, арестован еще в 1917 г. Ревельским Исполкомом. Впоследствии ему удалось записаться в партию большевиков, пройти в адъютанты полка или дивизии на Урале. И вот, он снова попал.

Один из Пек, совершенно не говоривший по русски, был арестован «вместе со своей лошадью» зато, что переехал границу, как он рассказывал по-фински: ехал к сестре в гости, а попал в тюрьму. Оказывается его родственники жили на русской территории.

Когда этому Пеку кто-либо давал покурить, он обыкновенно благодарил, но не зная русского языка и кем-то специально подученный, «обкладывал» дарителя самыми не цензурными словечками. Камера хохотала, а весельчак З-н кричал: «Пека, Пек, повтри еще: он обижается, что ты мало отблагодарил в другой раз не получишь махорки».

Пеку переводили по-фински, он снова «благодарил».

В первых же числах марта я устроился в тюрьме на работы: сначала носил лед для ледника, а затем стал уже «квалифицированным» пильщиком дров. Эта работа диктовалась, главным образом, возможностью свидания с нашими товарищами-одиночками, так как дрова пилились на том же дворе, где происходила прогулка. Рядом же была мусоросожигательная печь, куда каждый день приносили муор из женских камер, где также находились наши товарищи по партии.

Ежедневно на свалке мусора можно было наблюдать жуткие картины. Многие изголодавшиеся одиночники, выходя на прогулку, собирались возле мусорной кучи и выбирали из нее сельдяные головы и другие с'естные отбросы, и тут же ели или брали с собой в карман.

Эти несчастные, главным образом, красноармейцы, доведенные до собачьего положения, иногда из за какой-нибудь селедочной головы набрасывались друг на друга и дрались, так что часто приходилось их разнимать. Когда прогулка кончалась, надзиратель их гнал по камерам, угрожая, что в другой раз не будет допускать их до мусора. И это продолжалось изо дня в день.

В средних числах марта до нас стали доходить слухи, что в Питере рабочие массы снова поднимаются на защиту своих прав.

Забастовка на Путиловском заводе, на фабрике «Тругольник», в Рождественском трамвайном парке и в ряде других крупнейших предприятий, а также и движение в воинских частях, все это говорило нам, что новая революционная волна растет.

Нервное настроение казенных газет, их призывы в пространство к «честным» рабочим заклеить позором путиловских революционных рабочих, как «шкурников», «мешечников» и «колбасников», целые ушаты «коммунистической» грязи, выливаемые на партию левых эсеров, — все это давало нам возможность заключить, что наше дело не так плохо, раз враги нас ругают, и, наоборот, что

акции большевиков среди рабоче-солдатско-матросских масс (а уж стоит ли говорить о трудовых крестьянских) падают.

И вот, в один прекрасный день Всероссийская Чрезвычайка торжественно об'явила членов партии левых социалистов-революционеров *вне закона*. После этого каждый проходимец и хулиган мог безнаказано убивать наших товарищей.

А главные большевистские погромщики призывали всюду «стрелять прямо в лоб прислужников Антанты, левых эсеров». Это в то самое время, когда «Советская» власть веда переговоры о заключении мира с этой же Антантой. Потом, как известно, на Украине Раковский пошел тоже по следам Дзержинского и об'явил левых эсеров вне закона, после чего не оставалось, казалось, ни одного клочка на земном шаре, кроме тюрем, где мы могли бы жить легально!

Вновь прибывшие с Гороховой сообщили, что идут усиленные аресты среди рабочих. Приблизительно, числа 22 марта в Предварилку привели целую партию рабочих, в том числе ряд членов партии левых эсеров.

В нашу камеру назначили еще 6 человек. Общее число заключенных в камере стало 3, так что уже 9 человек не имели коек.

С глубоким возмущением и революционным под'емом вошли в камеру рабочие, отпуская ядовитые колкости по адресу «рабоче-крестьянской» власти, которая до—нельзя переполнила тюрьмы рабочими и крестьянами.

Я счел долгом немедленно, но незаметно для других, предупредить их, чтобы они уменьшили пыл, так как в нашей камере за последнее время обстояло не все благополучно: был посажен некто С. с агентскими целями. Только, когда вновь прибывшие вышли в столярную мастерскую за досками, и я вышел с ними, и обрисовал им положение дел в тюрьме и в камере.

Вечером я ближе познакомился с прибывшими товарищами. Особенно я вспоминаю старого рабочего с «Путилова» тов. Логинова; который с большим юмором рассказывал, как удирал с завода вождь рабочих, — председатель «коммунистического интернационала» гр. Зиновьев.

— «Вы представьте себе картину, что даже Зиновьев удирал от нас», — говорил мне с одушевлением Л.

— «То — есть, как удирал», — переспросил я.

— «А вот как. Я расскажу вам сейчас подробнее. Когда», — продолжал Л..., — мы забастовали, собрали общее собрание, избрали председателя тов. Федорова, выставили ряд революционных требований: «Долой Комиссародержавие», »Власть истинным Советам», и т. д. — все, значит, ваши лозунги», — и он дружески хлопнул меня при этом по плечу...

— «Ваши. А ты разве не наш?» — поправил Л. молодой рабочий, как я узнал впоследствии, — тов. З—в.

— «Обожди, не перебивай... И вот большевики после собрания хотели арестовать Ф...ова, но он даже и ночевать не пошел домой. Тогда большевики схватили на квартире его жену с грудным ребенком и на Гороховую айда, пошел... — Ваня, — обратился он к З..., — оставь мне курнуть... Ну, вот, мы узнали про эту историю с женой Федорова и опять собрали общее собрание. Это было не собрание, а буря, а тут еще левые эсеры поддают пару прокламациями и листовками. Мы вынесли постановление потребовать немедленного освобождения и этой женщины с ребенком и арестованных рабочих, левых с-р. Приехал Зиновьев. Ну, известно как всегда, значит: «Товарищи. Товарищи, мы—ваши, вы—ваши» и все свое, а бабу обещал немедленно освободить. Он, значит, спросил нашего разрешения сходить к телефону распорядиться об освобождении. А мы думаем себе: «Ну, шалишь, голубчик, мы тебе устроим овацию» и сказали ему, что пока

он не освободит Федорову, мы его не отпустим. Он сказал, что опять придет митинговать. Мы думаем: «иди». А как только он ушел, для него приготовили тачку».

— «Да неужели тачку.» — перебил я.

— «Да тачку. А дальше, слушайте, ему, должно быть, сообщили об этом, или, может быть, просто он за грех считал с нами больше говорить, только он не пришел. Только сказал по телефону, и а-тю-тю . . . А мы его ждем. Наконец, нам передают: тов. Зиновьев извиняется, у него срочные дела, и он не может быть больше на митинге».

— «А женщина с ребенком как.» — спросил я.

— «Ее освободили, и она, голубушка, значит, прямо из Чрезвычайки, да на завод, где еще происходило собрание, да с ребенком на трибуну, да закатнула речь. Ребенок ревет голодный . . . Вот, что было . . . Уж не знаю, что было бы Зиновьеву, еслиб он не удрал» — закончил свой рассказ Л . . .

— «А женщина с ребенком как?» — спросил я.

— «Я — с «Треугольника» — ответил мне молодой, симпатичный, но очень бледный с лица рабочий, лет 19-20.

— «Ваша как фамилия», — спросил я его.

— «З.».

— «А, как это вас большевистские газеты произвели в «лидеры» партии эсеров» — спросил я, рассматривая это настоящее дитя фабрики, из которого капитал уже успел высосать кровь. — «А что же у вас призошло.»

— «Да почти то же самое, что и на Путиловском. Я был председателем собрания, вот большевики и писали про меня».

— «А вы в нашей партии состоите», — спросил я его.

— «Да, только не так давно: мне еще и лет-то немного», — говорил мне «лидер» левых эсеров.

Говоря последнее слово, он как бы о чем-то сожалел или каялся, что ему еще мало лет, что он не мог раньше встать в ряды революционного движения.

— Марта утром, когда я был на пилке дров, за мной пришел отделенный и сказал, чтобы я немедленно шел в контору тюрьмы. В конторе мне возвратили мой «капитал» — 40 копеек, которые остались у меня от 4-х рублей. Я попытался навести справку, почему мне выдают деньги и что со мной хотят дальше делать. Ответ был, что «все» левые эсеры должны до обеда получить деньги — и больше ничего.

Я смутно догадывался, что нас хотят куда-то отправить.

Но куда.

Судя по тону газет и по отчету Чрезвычайек, где приводились некоторые данные об их «деятельности» по ловле членов нашей партии, можно было заключить, что нас хотят куда-то отправить, сгруппировать в одном месте, сфабриковать «дело о Всероссийском заговоре» и разыграть на этом основании комедию суда, как они разыграли, например, над М. А. Спиридоновой.

После обеда, распростившись с товарищами по несчастью, мы (я и З...) были выведены на «сборный пункт», куда стали стекаться партийные товарищи из других камер и коридоров.

— «Вы не знаете», — улыбаясь спросил меня Сим — кий, — «где нас будут расстреливать: в Петропавловке или в другом месте.»

— «Вы серьезно спрашиваете.»

— «Конечно. Я собрался на смерть» — с тем же невозмутимым спокойствием ответил он.

Я привел ему свои соображения о том, что нас перенесут куда-нибудь в другое место, может быть, в Москву.

Наконец, все собранные двинулись по направлению Гороховой, 2.

Когда мы вышли на набережную, я посмотрел на другую сторону Невы. Направо стояли «Кресты», налево — знаменитая Петропавловка, с Трубецким бастионом, где

в тяжелые дни самодержавия я сидел в одиночном заключении.

Теперь снова под усиленным конвоем шли рядом со мною товарищи, в общем итоге уже прошедшие более сотни лет тюремного заключения.

На Гороховой, 2, в общей камере, куда мы прибыли, жизнь текла, как и раньше: шумно, тесно, грязно и холодно. По прибытию мы узнали, что нас повезут в Москву.

Действительно, на следующий день к вечеру были поданы автомобили, нас повезли на Николаевский вокзал, где в отдалении стояли 2 арестанских вагона, в которых нас и рассадили.

Ш—у, Б—ву и мне при этом «посчастливилось» ехать в том вагоне, в котором были помещены бывшие «сильные мира», у которых вся жизнь была, можно сказать, в прошлом: бывший министр внутренних дел Макаров, (который в 1912 году изрек сделавшийся с тех пор историческим афоризмом: «так было и так будет», по поводу расстрела Лен—ских рабочих), бывший князь Васильчиков, бывший шеф жандармов граф Татищев и ряд других крупных лиц. Я рассматривал по отдельности эти «сиятельные» фигуры. Они произвели на меня жалкое впечатление. Насколько они были раньше горды и надменны, настолько они теперь низко пресмыкались пред каким-нибудь чрезвычайником. Когда не было вблизи начальства, эти бывшие патентованные начальники возмущались большевистским производом и безобразием, царившими в тюрьмах. Что касается Макарова, то этот «почтенный» старец едва ли мог теперь дать что-либо еще для реакции. Это был только «иконостас» контр-революции, и больше ничего.

— «Мне очень жаль», — говорил Макаров, — «что в революции сожгли здание Окружного Суда. У меня связаны с ним лучшие воспоминания, когда я был товарищем прокурора».

— «А Предварилку вы посещали», — спрашивали его.

— «Да, я бывал в ней, а также и в Бутырской тюрьме, в бытность Московским прокурором.»

Оказывается, по его распоряжению была снята железная клетка, в которой сидел Емельян Пугачев (в одной из Бутырских башен, носящей теперь название «Пугачевской»).

Несмотря на приостановку пассажирского движения (была неделя транспорта товаров), мы мчались быстро в Москву.

Сопровождали нас отборные «коммунисты» во главе с чрезвычайным «прокурором» Геллером, обязанность которого в Чрезвычайке было читать приговоры смертникам. Несмотря на то, что он занимал такую симпатичную должность, — и на то, что его физиономия напоминала эстонского мясника, он был с нами очень любезен и вежлив. Это был типичный кожаный «муж», одетый во все коженое с ног до головы. Дорогой, на остановках, я написал несколько открыток в Питер. Мне очень не хотелось, чтобы мои письма прошли через руки этого «мясника». Когда поезд тронулся, я приготовился выбросить в окно пакетик, на котором написал: Гражданин, бросьте открытки в почтовый ящик». Вижу, идут две женщины и с ними мальчик. Я крикнул в окно: Бросьте в ящик» — и выбросил пакет. Я видел, как мальчик бросился подбирать его, но «коммунар» закричал с площадки вагона, угрожая пристрелить. Мальчуган остановился. Но мне сообщили потом в тюрьму, что письма дошли.

На холодной горе.

(В Харьковской тюрьме.)

Началось это с десятых чисел февраля усиленной «артиллерийской подготовкой» большевистских журналистов. Чтоб доказать контр-революционность нашей партии прибегали, по заведенному коммунистами обычаю, и к клевете, и к лжи, и к целому ассортименту самых бесзастенчивых ругательств. Прессе, идущей из центра, вторили, истерически взвизгивая, Харьковские «Известия», называя нас. левых эсеров и белогвардейцами, и контр-революционерами, и анархистами.

Для нас с самого начала было ясно, к чему ведет вся эта казенная истерика. Числа 16—17 мы получили сведения об аресте наших товарищей с Марией Александровною Спиридоновой во главе.

Но, несмотря на это, мы особенно не беспокоились, думая, что нас на Украине не посмеют тронуть большевики, с которыми нам волей—неволей пришлось длительно работать вместе во время месяцев гетманского владычества и петлюровской вакханалии.

Но они посмели. В области арестов они вообще были чрезвычайно смелы, гораздо смелее, чем в подполье и на фронте.

20-го февраля наша редакция — редакция газеты «Борьба» была оцеплена отрядом чрезвычайников.

Меня сторож вызвал в соседнюю комнату к посетителю.

Посетителем оказался приземистый, с красной звездой на фуражке, молодой человек, который, увидев меня, моментально схватился за мой карман, где был револьвер, и

заявил, что я нахожусь в его распоряжении. Я спросил ордер, — он предъявил бумагу, снабженную печатями Ч.К. с подписями мне неизвестных, но, видимо, весьма ценных для революции людей — председателя Всеукраинской Чрезвычайки — Семена и еще каких — то суб'ектов.

Подошли еще две кожаных куртки и повели к выходу.

В соседней комнате я увидел свежее-арестованного Владимира Александровича Карелина, сюда же был введен двумя чекистами Саблин.

Нас троих вывели на улицу, рассадили по извозчикам; рядом с каждым уселось по одному чрезвычайнику (все они небрежно играли наганом, давая понять нам, что находятся на страже революции),

Мы двинулись. Мимо мелькали знакомые дома, — вот особняк, занятый нами после изгнания Петлюры из Харькова, потом переулки, Сумская улица, по которой мы ехали довольно долго, кажется, до № 82 — большого пяти или шести этажного дома, где помещалась Всеукраинская Чрезвычайка, не успевшая еще пробраться в Киев.

Мы поднялись вверх по лестнице на 4-й или 5-й этаж и были введены в дверь, снабженную плакатом с красноречивой надписью: «Секретный отдел».

По коридорам шмыгали молодые люди обоего пола с наглыми и чрезвычайно озабоченными лицами.

Сразу было видно, что они также, как и привезшие нас комиссары, с усердием спасают революцию.

Около нас сразу скопилась группа любопытных, из дверей высовывались любопытные головы, жаждущие взглянуть на поверженную гидру контр-революции.

Ждать пришлось недолго — нас ввели в кабинет начальника секретного отдела, маленькую, уютно меблированную комнату.

Сам начальник — солидный с рыжеватыми баками рыжий мужчина лет 35-ти, просил нас сесть и не беспо-

коиться, и обратился к нам с несколькими малозначительными вопросами. От него же мы узнали, что были арестованы не Всеукраинской Ч.К., а Всероссийской, приславшей по этому поводу телеграмму.

Из кабинета нас провели в комнату, довольно большую — с мягкой удобной мебелью, где и предложили расположиться, предварительно составив акт об аресте.

Мы разлеглись по диванам, приготовившись ждать событий.

Ждать пришлось недолго — один за другим стали прибывать наши товарищи: Крымский, Вельвовский, Касильская, тов. Кира, арестованные в тот же день.

Мы долго ждали допроса, лениво перекидываясь фразами.

Наконец, начали вызывать. Часа в два ночи. Следователь — молодой, белокурый, жизнерадостный, в очках с толстой черепаховой оправой, так не шедшей к его юношескому лицу, вежливо усадил меня в кресло и долго говорил о своем щекотливом положении: он в первый раз испытывал свои следственные способности на социалистах. Впоследствии я убедился, что большевистские следователи весьма скоро привыкают к этому непривлекательному на первый взгляд занятию:

— «Назовите, пожалуйста, всех членов Украинского Ц. К.».

— «На персональные вопросы не отвечаю.»

— «Скажите, кто состоит в вашем военном отделе.»

— «На персональные вопросы не отвечаю.»

После долгих разговоров я, наконец, подписал состряпанный протокол.

Вопросы предложенные товарищам, были в том же духе.

Утомленные всей этой процедурой, мы, разместившись на креслах, диванах и на полу, все крепко заснули под

аккомпанимент заунывного украинского «Яблочка», ставшего любимой песней уголовных Харькова и Одессы и, видимо, пользовавшегося популярностью и у наших сторожей.

На следующий день, часов в 8, нас разбудили и повели под надежной охраной через весь город в Харьковскую каторжную Холодногорскую тюрьму.

Несмотря на ранний час, то и дело мелькали лица знакомых. На нас оглядывались с сочувствием, узнавали посетители различных митингов, где нам приходилось выступать.

На одном перекрестке простились с тов. Кирой, которую повели в губернскую тюрьму, так как в каторжной тюрьме женского отделения не было.

Прошли через мостик и увидели на горе внушительное здание с не менее внушительной вывеской: «Каторжная тюрьма».

В конторе помощник начальника тюрьмы — с грубым, солдатским лицом, записывал наши фамилии, вероисповедание, рост, цвет волос и прочее неловкими, тугими пальцами.

Он очень изумился, когда один из товарищей на вопрос о вероисповедании ответил, что он — вне религии. Долго убеждал помощник начальника нашего товарища вернуться на лоно православной церкви, но потом махнул рукой.

В знак особенного расположения нам были оставлены часы и перочинный нож. Обыска, как и в чрезвычайке, произведено не было.

Нас повели по покрытой снегом тропинке мимо большого здания — главного корпуса, потом мы завернули мимо здания поменьше — ротного корпуса и подошли к одноэтажному, длинноватому приземистому зданию, которое носило название заразного барака.

Помощник, ведший нас, видимо, желая нас обрадовать, сообщил, что специально для нас отделана камера и починена печка.

Мы вошли в заразный барак, в камеру № 1 — большую, пахнувшую краской комнату. За нами захлопнулась дверь и щелкнул замок.

Многие повествователи чрезвычайно любят описывать этот момент, и в звуке захлопывающейся тюремной двери слышат какие-то таинственные и страшные слова в роде «прощай на веки» или «настал конец». По правде говоря, в скрипе, который я услышал, не было ничего необыкновенного. Скрип, как скрип, — и больше ничего.

Камера была не совсем пуста. В углу, возле печки лежала фигура, которая при нашем появлении зашевелилась и повернула к нам голову.

Это был китаец — красноармеец, как мы узнали потом, из интернационального батальона.

Звали его Су-ля-лин, он был добродушным и любезным человеком: вырывал по утрам из наших рук метлу, так как обязательно хотел подмести сам. Мы долго не знали, по какому делу он сидит. Он что-то толковал на тарабарском, мало-вразумительном языке о каком-то револьвере и китайцах. Впоследствии мы узнали всю его трагическую историю, но об этом ниже.

Мы стали размещаться, осваиваться со своим новым жилищем.

Через окно открывался вид на небольшой внутренний дворик, обнесенный каменной стеной. Под окнами гуляло двое часовых. На гребне стены была устроена вышка для наблюдения, но на ней не было никого.

Вид, по правде говоря, довольно мизерный — снег перед стеной, а за стеной чуть белелась выходившая за город снежная равнина с разбросанными на ней кое где чахлыми, неуклюжими деревьями.

Мы начали перестукиваться — за стеной кто-то зашевелился и стал отвечать туманно и неумело.

Не сговорившись с соседней — второй — камерой, мы сели в кружок и начали обсуждать «создавшееся положение».

Как и следовало ожидать, из этого обсуждения не проистекло никаких ощутительных результатов.

Оно, кстати, было прервано открытием двери и появлением лучшего друга и утешителя заключенных — «передачи» от товарищей.

Они уже знали, где мы, писали о новых арестах, хотя очень туманно, так как иначе нельзя было, о закрытии нашей «Борьбы».

Время шло быстро, в этот первый день скоро камера наполнилась серыми вязкими сумерками, внесли копящую лампу, прошла проверка.

Мы стали засыпать. Возле меня на кровати спал Саблин, почему-то не озаботившийся снять сапоги со шпорами.

Я подошел к кровати Карелина. Он не заснул еще и мы долго толковали о товарищах, оставшихся на воле и о нашем большом и важном деле, от которого мы на время были оторваны.

Время тянулось долго. К нам присоединили еще двух товарищей — Шелонина и Зубарева.

Большевики не оставляли нас своим вниманием — чуть не по пять раз в день посещали «высокие особы» — комиссар тюрьмы — толстый, коротенький субъект, считавший своим долгом убеждать нас в превосходстве коммунистической программы над нашей, какие-то комиссары со звездой на фуражках, комендант города и его помощники — одним словом, скучать особенно не приходилось.

Наша газета была закрыта. Товарищи на воле пытались продолжать ее издание, но вторичное закрытие поставило крест над этим начинанием. В большевистской

прессе продолжалась прежняя кампания. На Украине, где при шаткости власти разгром целой большой, испытанной в борьбе с контр-революцией гетмана и Петлюры партии — было преступлением, газеты с особенным упорством старались очернить и оклеветать нас.

Жизнь текла по давно — еще при самодержавии — установленному руслу: утренняя поверка, обед, прогулка, вечерняя прогулка. На прогулке мы расчищали снег на маленьком тюремном дворике и болтали с часовыми. Долгими и утомительными были вечера. Огонек лампы, дрожащий грязноватый огонек — освещал лишь один уголок большой камеры. Заунывная песнь часового под окном и отчетливая и тяжеловесная брань сторожей — за дверью.

Мне придется говорить здесь о людях, с которыми пришлось встретиться мне в тюрьме и которых уже нет, — о том, почти непрерывном ряде расстрелов, практиковавшихся в Харькове и закончившихся грандиозной, кровавой вакханалией массового избиения.

Первыми взятыми при нас из тюрьмы были — бойкий конторщик и агент сыскного отделения, приведенные уже после нас в соседнюю — 2-ую камеру. Конторщик — вертлявый, с нагловатым лицом поляк, обвинявшийся в стачке с бандитами, ограбившими одно крупное кооперативное учреждение, — был сильно избит чрезвычайниками на допросе — он весь был в кровоподтеках, кашлял, харкал и хрипел. Второй — агент сыскно-уголовного розыска — грузный, красивый блондин, обвинялся в том, что у обысканного взял взятку в 2000. Он печально ходил по камере из угла в угол и просил нас заступиться за него. По вечерам он заунывным голосом пел божественное.

Как-то ночью с шумом вошел в наш корпус караул и увел с собой этих двоих.

И с тех пор в корпусе по ночам воцарился странный, трепетный неуют тревожного ожидания, ожидания, которое часто не было тщетным.

В одном корпусе с нами сидели пять китайцев и два мадьяра — офицер и рядовой, — все из интернационального полка. Обвинялись они в убийстве девяти китайцев, пойманных возле Белгорода и казненных по постановлению примитивного полкового суда. Приговор этот был приведен в исполнение, но, к несчастью для инициаторов этого дела один из китайцев бежал, пробрался в Москву, сообщил обо всем в комиссариат по иностранным Делах и из Москвы нагрянула расправа. Был произведен арест 8-ми китайцев и 2-х мадьяр. Особенно запомнился мне начальник интернационального полка — мадьярский офицер — с красивым, тонким, бледным, почти восковым лицом. Мы несколько раз говорили с ним по-немецки и он все удивлялся жестокостям нашей революции. Не знаю, был ли он слабым или просто психически больным человеком, но на суде выяснилось, что в полку, которым командовал он, допускались при его потворстве и прямом участии такие невероятные жестокости, перед которыми бледнело многое из того, что принято называть ужасным. Китайцы мало понимали, за что они сидят и своей вины не признавали совершенно. Происходивший суд бросил яркий свет на все ужасы, творимые в интернациональных наемных отрядах Красной армии, ужасы, за которые нельзя было делать ответственными, совершенно не сознающей обстановки, китайцев. Приученные к преторианству, специализировавшиеся на грабеже, эти отряды являются и поныне грозой и предметом ненависти русского крестьянства. Преданные советской власти, пока она хорошо платит, эти отряды одно из многих пятен на гибкой совести большевистских вожakov. Но за все эти зверства отвечают не они. Чаще всего убийства и грабежи затушевываются

угодливыми перьями; когда же это невозможно, ответственными за всю эту безобразную систему делают кучку людей, по развитию и пониманию — почти детей. Так было и в настоящем случае. Жалкими, пришибленными вернулись из суда эти 5 китайцев и 2 мадьяра. Они не знали приговора, но чуяли недоброе. Это было в последний раз, как я видел их. В ту же ночь, лязгая штыками, вошел конвой и увел с собой мадьярского офицера, командира полка, и двух китайцев, одним из которых был Су-ля-лин, наш сожитель по камере. Все трое были расстрелены за городом.

На следующий день, выйдя в коридор, я услышал, как кто-то из арестованных во весь голос читал какое-то письмо. Оно было адресовано мадьярскому офицеру его женой, молоденькой, 18 летней русской, на которой он женился совсем недавно. Письмо было переполнено упреками и жалобами. Она писала, что компания, окружавшая ее мужа, погубит и оговорит его, жаловалась на одиночество, на надвигающуюся нищету. Письмо это запоздало на сутки.

Сначала выпустили пять наших товарищей, потом — после 1-го мая — Саблина, и нас осталось только двое: Карелин и я.

Между тем события на Украине сильно изменились. Крестьянство вместо горячо ожидаемой и приветствуемой советской власти получило большевистскую диктатуру и стонало под гнетом небывалых даже в период немецкой оккупации грабежей и реквизиций. Ненависть к большевикам росла все больше, а одновременно с ней росла и угроза со стороны организовавшегося Деникина. Украинское крестьянство, желавшее бороться с нашествием помещичьей банды, не могло и не хотело проливать кровь свою под командой своих же усмирителей и грабителей. Невероятное казнокрадство, беззастенчивое самоуправство и палачество — все это отталкивало крестьянство от больше-

виков, помимо ясно сознаваемых, враждебных коммунистическим диктаторам классовых, чисто крестьянских интересов. Немудрено поэтому, что неустойчивую красную армию было легко вовлечь в самую откровенную авантюру разным атаманствующим честолюбцам, которых на Украине было не мало. В такой обстановке вспыхнул мятеж атамана Григорьева под националистическими лозунгами. Большевики лживые и трусливые, как всегда, спешно приискали виновных и об'явили нашу партию на Украине вне закона. Нелепое обвинение против нас в участии во всей этой дико—шовинистической истории было напечатано во всех газетах. Это известие и об'явление нас вне закона, — произвело сенсацию в тюрьме. На нас смотрели, как на приговоренных. И в самом деле было ясно для всех, что первый удар обрушится именно на нас, заключенных в Харьковской тюрьме, так как других арестованных левых эсеров на Украине в то время не было.

Вокруг нас замолкли разговоры и установилась какая-то странная атмосфера: с нами говорили обо всем, кроме вопроса, который в тот момент интересовал всю тюрьму. К вечеру это напряжение еще возросло. Прошла проверка. А через полчаса после нее с шумом в наш корпус вошел вооруженный отряд чрезвычайки и распахнулась дверь камеры № 6, где мы только вдвоем сидели в то время. Начальник отряда, высокий мужчина с плетью в руке, остановился на дороге. За ним толпилось человек 10, вооруженных до зубов. Двое каких-то людей с фуражками с красным верхом быстро вошли в камеру. Один из них встал у окна, другой остановился у стола. В это время в главной группе произошло какое-то движение и начальник отозвал из камеры своих подчиненных. После нам рассказывали, что это приходили искать какого-то арестанта, приговоренного к расстрелу и не найденного в камере. Будто его искали по всей тюрьме и так-таки не нашли. Рассказ был путанный и мало — вразумительный. Мне до сих пор кажется, что эта была просто выдумка.

На следующий день наши товарищи по коридору удивлялись что мы еще живы. По правде говоря, такое удивление не особенно приятно.

Тиф, начавшийся по всей Украине, особенно сильно свирепствовал в тюрьме. Уже было с десятков смертных случаев, когда я почувствовал какую-то особенную боль в голове. К вечеру я слег. На следующий день слег и Владимир Александрович Карелин. Мы уже не могли следить за развертывавшимися событиями. Мы лежали в той же камере, переполненной теперь жаркими видениями сыпного — тифозного бреда. Изредка, в тумнае, вырисовывалась устало-равнодушная физиономия докто-ра, иногда пробуждала острая боль укола или какая-нибудь фраза доброго и симпатичного фельдшера, который, собственно, один и лечил нас. Потом туман рассеялся, мы начали сознавать окружающее, начали бродить серыми тенями по коридорам тюрьмы. Тиф охватил к этому времени всю тюрьму. Во второй камере было особенно много больных. Мне ярко запомнились двое: итальянский инженер Петрилло, посаженный в тюрьму за сокрытие каких-то частей автомобиля на своей фабрике. Посажен он был благодаря проискам начальника автобазы Дьяконова. А кроме него — начальник автобазы, посаженный благодаря проискам инженера Петрилло. Это были два врага. На допросах они всячески топили друг друга, вели какие-то подкопы, интриговали. Заболели они почти одновременно и лежали в одной камере, почти рядом. Болезнь их тянулась долго и мучительно. С каждым днем они таяли и все слабее реагировали на впрыскивания и физиологические вливания. Сначала умер Дьяконов, через несколько дней за ним последовал итальянский инженер, и было что-то стыдное и страшное в смертях этих соединенных ненавистью людей.

По мере приближения Деникина, все больше увеличивалась кровавая истерика чрезвычайки. Она в это время выдвинула своего героя. Этим героем был знаменитый в Харькове комендант Чрезвычайки — Саенко. Он был, в сущности, мелкой сошкой — комендантом Ч.К., но в эти дни паники жизнь заключенных в Ч.К. и в тюрьме находилась почти исключительно в его власти. Каждый день к вечеру приезжал к тюрьме его автомобиль, каждый день хватили *несколько* человек и увозили. Обыкновенно всех приговоренных Саенко расстреливал собственноручно. Одного, лежавшего в тифу, приговоренного он застрелил на тюремном дворе. Маленького роста, с блестящими белками и подергивающимся лицом маньяка бегал Саенко по тюрьме, с маузером с возведенным курком в дрожащей руке. Раньше он приезжал за приговоренными. В последние два дня он сам выбирал свои жертвы среди арестованных, прогоняя их по двору своей шашкой, ударяя плашмя.

В последний день нашего пребывания в Харьковской тюрьме звуки залпов и одиночных выстрелов оглашали притихнувшую тюрьму. И так весь день. В этот день было расстрелено 120 человек на заднем дворике нашей тюрьмы. Надвигалась ночь. Все в тюрьме ждали чего-то. Чего еще ждать . . . Новых расстрелов . . . Меня охватила апатия в эти часы, когда ежедневно вызывают десятки людей на смерть. Пришла, наконец, ночь тихая и чуткая, покрыв своей темнотой все ужасы дня, все эти трупы на дворе. Мы начали дремать. И вдруг, часа в два, в чуткой тишине корпуса раздался голос: «Вершинина и Карелина, в контору, с вещами». Это была как раз та фраза, которую мы сами того не желая — ждали. И едва раскрылась дверь, как мы оба спрыгнули с коек и оба сказали друг другу в один голос: «Ну, идем». Сторож — наш хороший приятель — поцеловал нас и заплакал. Мы пошли по двору и свернули по длинной тюремной улице. Было темно. Стояла стража частыми группами, поблески-

вали пулеметы. Посреди улицы был установлен пулемет Максима и возле него стояла группа солдат. Мы шли вдоль стены. Я не помню, что мы сказали друг другу: что то незначительное, но хорошее и нежное. Наконец, — вот дверь в контору, вот кабинет начальника. Там сидел в кресле знакомый нам по прежней работе большевик, и объявил нам: «Вас эвакуируют в Москву». Таких, как мы, было человек 20: тут были и заложники и обвинявшиеся в контр-революции. Явился Саенко. Он пересчитал нас и сказал: «Ну, собирайте вещи, вы — все», и затем приказал своему помощнику: «Отвести на вокзал, в вагоны в распоряжение Саенки».

Мы взяли вещи и вышли. Выходила заря. По улицам города редко-редко проходил какой-нибудь обоз отступавшей армии. Изредка слабо-слабо доносилась канонада: это приближались казаки к оставленному городу.

Москва, Бутырская тюрьма. 1919 г.

Леонид Вершинин.

Побег из Бутырок.

22-го марта 1920 года из Бутырской тюрьмы, при выводе в город за молоком для лазарета шестерых заключенных под конвоем двух надзирателей, заключенными была сделана попытка к побегу.

Обезоружив надзирателей и заставив их стоять с поднятыми вверх руками, пока они не скроются с глаз, все шестеро заключенных (из которых пятеро были левые эсеры) двумя партиями разошлись в разные стороны. За двоими из них погнались оба надзирателя и милиция, в результате чего была смерть товарища Степанова и заарестование тов. Майорова, больного сердцем и упавшего в сердечном припадке во время бега.

Андрей Степанов был крупный работник всего периода февральско-октябрьской революции. Он был членом Ревельского Совета, председателем Партийного Комитета Лев. С.-Р. редактором газеты, издаваемой матросами Ревельского флота. При наступлении войск Вильгельма в Ревель, в период Бреста, тов. Степанов уходил последним. Все дни и часы своей молодой жизни он ровно, терпеливо, с большим спокойствием и сдержанным, но огромным энтузиазмом отдавался революционной работе. Пользовался не только популярностью, но любовью и уважением всех матросов и рабочих города, и в лице его партия Левых С.-Р. и революция потеряла большую и надежную силу.

Над трупом его глумились «коммунистические» охранники, также, как над пойманным И. Майоровым, ведя его назад в Бутырки, затем в Ч.К., куда его в ближайшие дни водили на допрос. Тов. Илья Майоров — член Центрального Комитета партии лев. С.-Р., автор проекта основного

закона социализации земли, принятого на 3-ем Съезде Советов в январе 1918 года единогласно представителями трудящихся и всеми советскими партиями того времени (левыми эсерами и большевиками).

Письмо из Бутырок И. Майорова.

Андрей убит. Как много потеряла в нем наша партия. Это был простой рабочий слесарь, но какой непомерно большой ум. Какая нравственная красота. Какая преданность и любовь к партии, к революции и к трудящимся. Его мало, кто знал . . . но кто его знал, тот никогда его не забудет.

Узнав его близко, нельзя уже от него оторваться, вот почему я его выбрал и предпочел оставить других товарищей, о которых мы знаем и которых считаем своими лучшими, и все отстоять Андрея. Может быть, в настоящее время Андрей несколько по-иному расценивал положение нашей партии на воле, но это только потому, что он весьма спокойный и рассудительный холодный ум. Но, когда я ему указал на крайнюю нужду в рабочей силе у нашего партийного революционного подполья, он ни на минуту не поколебался и пошел. И я уверен, что он там заменил бы десятерых средних работников. Только уже одно то, что он, сидя здесь, не проявлял себя ни политиканством, ни подчинением кому-либо из нас — политиканов — это одно уже показательно, а все оттого, что ума в нем палата и нравственно он более других устойчивый... Андрея не стало. Никто не представляет, что мы в этой партийно-тюремной горячке потеряли. Его последние слова: «Милые товарищи про . . . щай . . . те» — звучат в голове у меня непрерывно. И я, как сейчас, вижу его умные серые большие глаза, его огромный красивый лоб . . . и вот он высокий, стройный, бледнолицый красавец лежит, вытянувшись во весь рост, лицом кверху, на асфальтовом тротуаре . . . лежит, прощается с небом, предательски убитый сзади милиционером из винтовки. И я бы не дал

его убить, если бы у меня был револьвер. Я бежал сзади милиционера и видел, как этот мерзавец стоял и спокойно целился ему в спину, как в зайца. По нас стреляло человек десять, и откуда они набежали, пули как град сыпались, и я защищался, вернее, инстинктивно заслонялся рукой при выстрелах в меня разными вольнонаемными убийцами из коммунистов. Вся погоня была направлена только на нас, на двоих: и облава, во главе которой были наши 2 конвойных, излавливали только нас, по крайней мере, первые 10—15 минут. За-то те уходили спокойно и счастливо в другую сторону, по направлению к центру города, и именно благодаря этому ушли. А почему погнались в первую очередь за нами — понятно, нас побуждало только двое, а те четверо вместе, и у нас один револьвер, а у тех два, а кроме того, одному конвойному в страхе показалось, что я ему хотел своим финским ножом выковырять глаз и зарезать, тогда как я только после возгласа «руки вверх», бросился отрезать у них пистолеты, и роздал их товарищам. В оправдание нерасторопности одного из конвойных мне пришлось на допросе не только это рассказать, но еще больше, я сказал, что один из них сопротивлялся, хотя этого не было. Дело в том, что один из конвойных сказался коммунистом и вздумал не только наговаривать на меня, но стал топить другого. Кстати, скажу, что у меня при обыске был найден финский нож, мое единственное оружие. Помимо этого, сегодня ночью был обыск в камере; пришло, когда я спал, человек 20 чекистов, все невероятно обшарили, хотя перед этим обыскали три раза и все — таки . . . Я не знаю, как назвать наш побег, удачным или нет, но несмотря на его импровизованность, он был сделан умело, и я думаю, что мне не удалось выйти из Бутырок только благодаря тому, что на воле Бутырки еще худшие чем здесь, а потом еще, быть может, и потому, что Андрей не стрелял в своих врагов, а только пугал их и, очевидно, немного растерялся — побежал, когда можно было идти шагом. Когда его

убили, он (Андрей) был впереди меня шагов в 50—60 и, когда я проходил мимо его и он говорил свои последние слова, у меня закружилась голова, я чуть-чуть удержался, чтобы при толпе не нагнуться над ним и поцеловать, но как-то удержался и спокойно пошел дальше, но минут через пять меня тоже остановили. Оружия у меня не было и, когда двое каких-то чекистов навели его на меня, я сдался. Один два раза выстрелил в меня и не убил. Очевидно, у него не хватило смелости расстрелять на улице, при людях безоружного л. с-р., а я в это время агитировал толпу, собравшуюся около нас. Говорил, что мы, л. с-р., не убили и не убиваем никого, кроме контр-революционеров на войне. Тут подошли конвойные, один коммунист стал доказывать, что я хотел ножом выколоть ему глаза, а другой грустно молчал, и меня с побоями и матерной бренью, со взведенным револьвером, с толпой торжественно опять привели в Бутырки. Здесь первым встретил Папкович возгласами: «зачем не расстреляли дорогой». Комendant на допросе тоже высказал сожаление, что не убили всех. И так, ровно через пять месяцев меня посадили опять в ту же одиночку. Раньше давали гулять мне 10 минут, а теперь только 3 минуты, счетом 320 шагов в маленькой клеточке у Северной Башни. Теперь расскажу, как случилось самое происшествие. Пошло нас за молоком 6 человек и все решили бежать, во что бы то ни стало, потому что при всех других обстоятельствах, когда нет помощи своих, лучше этих условий не придумаешь. Нас шесть, их двое, у них два револьвера, у нас один. Улицы по пути, особенно, где должны обезоружить, совершенно безлюдны, уйти — есть куда, а ждать больше — нельзя никак.

Так, получив молоко, мы пошли самыми глухими улицами. В одном пустыре сели отдохнуть, покурить, а потом . . . убежали. Я говорю, никто нам не помог, а все ловили нас и стреляли в нас, как в волков. Если бы была помощь с воли — другое дело.

И. Майоров.

Левые эсеры в „белой“ тюрьме.

Наша боевая дружина, уехавшая в феврале 1919 года на оккупированную белыми Украину, очень скоро попала в тяжелые условия работы, которые ей приходилось с большим или меньшим успехом преодолевать в течение долгого времени. Часто надо было переносить работу из областей, занимаемых крестьянскими и лево-эсеровскими партизанами и всюду за ними большевистской красной армией, в места, захваченные белыми, и наоборот.

Почти невозможно передать, что пришлось порой переживать дружине, наступавшее безденежье и крайняя опасность переходов с оружием, взрывчатыми веществами, фальшивыми пропусками и документами из одного места в другое, трудность маскировки, как в зоне белых, так и большевиков, не стеснявшихся не только мешать нам, но и расправляться с нами также, как и белые, — все это грозило парализовать работу. Мы перенесли, наконец, свою работу в Харьков, где решили основаться, и где нас застали белые, кажется, в конце июня или в самом начале июля 1919 г. Это вступление их в город сопровождалось вообще неописуемыми зверствами, даже просто на улицах, всенародно, а не только в тюрьмах. Первыми севшими в «белую» тюрьму были тов. Бойченко, Трофимов и Тоня Розенблатт. Следующими — Ян Лазгле, Костя Федяков, тов. Виссарион Рунусов («Туля»), тов. Самсон и две непартийные, но сидевшие по нашему делу, тов. Таня и Сара (фамилии их я не знаю).

Арестованных сначала приводили в «сыскное» или «контр-разведку»; здесь начинался и велся допрос, сопровождаемый неслыханными избиениями.

Ян Лазгле, Костя Федяков и «Туля» сели по одному делу. Первым из них сел Ян на два месяца раньше двух последних. С ними мы встретились в сыском отделении, куда его вызвали на допрос из каторжной тюрьмы. Допрос велся обычно 15—20-ю вооруженными «до зубов», по большей частью здоровыми кавказцами — офицерами. Каждый вопрос допроса сопровождался избиением до полу-смерти. Так, Яна за один допрос избили два раза шомполами, потом одними прикладами, поставив его на колени и засунув подушку в рот. На допросах заставляли, между прочим, нас всех без исключения петь «Боже, царя храни», целовать портрет Деникина и портрет Бориса Донского, найденный у одного из левых эсеров. За всякий отказ исполнять то или иное их требование, начиналась дикая вакханалия расправы. На одного обезоруженного допрашиваемого или допрашиваемую кидалось 15—20 человек. И тут трудно сказать, как именно били. Били, как кто мог, изощряясь до ужаса: щипали, кололи, били ручками от револьвера по лицу, били прикладами, кончая все это тем, что накидывали мешок на голову, садились на нее и на ноги и начинали пороть уже по голому телу. Особенно избивали тех, кого считали почему-либо наиболее видным партийным работником. Так, Ян был избит так, что мог только стоять — всякое иное положение тела причиняло нечеловеческие муки. Надо сказать, что, может, благодаря своей внутренней силы, он вызывал какую-то боязнь со стороны «белых» зверей, действующих почти всегда под кокаином, ибо его до самого расстрела не били по лицу. Других же товарищей, как Косте Федюкову после одного только допроса превратили лицо в сине-багровую, окровавленную, почти бесформенную маску, ибо били по лицу ручками от револьвера. Так же избит был и «Туля». Здесь же допрашивались и мы, женщины, над

которыми особенно мерзко издевались. Начиная с щипков в 20—30 рук, таскания за волосы по полу и кончая той же поркой с мешком на голове, и даже изнасилованием.

Вместе с Яном, Костей и «Тулей» мне, Тане и Саре пришлось сидеть в «сыскном» только три дня. Здесь нам не полагалось, между прочим, абсолютно ничего из с'естного, ни даже воды. Присылали есть арестованные, сидящие в соседних камерах, и считавшие нас за «смертников». Потом Яна, Костю и «Тулю» отправили в Харьковскую каторжную тюрьму, а женщин в Губернскую тюрьму, рассадив всех по одиночкам.

Яну, Косте и «Туле» пришлось жить в тюрьме после этого только одну неделю (надо заметить, что в каторжной тюрьме в это время не было ни одного целого стекла, и арестованным полагалось только полфунта хлеба, больше ничего). Через неделю, 10-го ноября (или 11-го) их погнали на расстрел группой в 9 человек: трое наших и 6 человек коммунистов. По дороге они решили бежать. При побеге сразу же на месте, было убито 6 человек, в том числе и Костя с «Тулей». Трое продолжали бежать, из них 2-м коммунистам это счастливо удалось, а Ян убежал на людную улицу, где какой-то встречный белогвардеец выстрелил ему в грудь. Ян упал. Его, вероятно, прикончили бы здесь же, на месте, если бы не помешала собравшаяся толпа, почему его и отправили в тюремную больницу. Здесь его раздели до нага, рану не перевязали, и бросили на каменный пол. Об этом знают со слов товарища Самсона, лежавшего там же со сломанной ногой. Он говорил, что Ян все время просил пить, чего ему, конечно, не давали. Тов. Самсон предложил ему подползти к своей постели за водой, так как сам он не мог двигаться. Ян, пробуя это сделать, подымался на ноги и палас с размаха на пол, истекая кровью. Так мучился он с 10 час. вечера до 5 час. утра, наконец, умер безо всякой медицинской и просто человеческой помощи.

Все товарищи должны знать, кого мы потеряли в лице Яна и как трудно до сих пор примириться с его потерей. Оставшиеся в тюрьмах и севшие ранее других тов. Бойченко, Трофимов, Таня Розенблатт, Таня, Сара и другие были выгнаны 14-го или 15-го ноября 1919 г. на Змиевское шоссе с тем, чтобы этапным порядком отправиться на Ростов. Партия состояла из 2.500 человек, сидевших в каторжной и в губернской тюрьмах. Пешком нас гнали сотни верст—гнали полями, окольными путями и болотами. Некоторые из нас заболели возвратным тифом, и их, в бреду и жару, продолжали гнать. Таня Розенблатт шла, будучи беременной на 8-м месяце. Пайка арестованным не полагалось никакого, кормили лишь встречные крестьяне. Падающих, спотыкающихся подгоняли, подымали шомполами и прикладами. Так шли две недели. В селе Андреевке первый раз нам дали для отдыха целую ночь, с тем, чтобы на утро посадить в вагоны — холодильники по 200—150 человек в вагон, почти герметически закупоривая его на ночь. В вагонах тот кто сидел, не мог уже встать, кто стоял—сесть. Ночью сходили с ума, начинались дикие крики, люди лезли друг на друга. Воздуха не хватало, света не полагалось. Так везли до Змиева. В Змиеве взяли большую партию на расстрел, среди которой был между прочим, и тов. Бражник (борьбист—лев. с-р.). В Изюме нам был дан конный конвой, и нас бегом гнали 5 верст в городскую тюрьму, где впервые было приготовлено нечто в роде ужина для этапных, которого абсолютно, без преувеличения, никто не ел, так как все просто повалились, где кто мог, с тем, чтобы на утро тем же бегом снова отправиться на вокзал, в вагоны. Здесь на день открыли двери вагона, а перед ними устроили виселицы с тремя повешенными, заставляя на них смотреть, якобы в наизидание. Таким образом, довели нас до Бахмута. Почти все товарищи были больны, из вагонов вытаскивали за ноги, чтобы отправить в тюрьму.

Скоро к Бахмуту подошли красные партизаны и у белых началась паника. Они успели погрузить часть заключенных и уехать, а остальным подсыпали в пищу яду, от которого погибли все евские суп.

Арестованные белыми были большею крестьяне и рабочие и незначительный по количеству партийный элемент—большевики, левые—эсеры, при чем ответственные коммунисты, конечно, всегда успевали удрать, оставив на расправу рядовых. Так что инкриминировать «большевизм», за редким исключением, было почти не кому. Тем непонятнее была зверская расправа с теми, кого не удалось белым захватить с собой при своем бегстве.

За все время сидения в Бахмуте нам администрацией ничего пищевого не выдавалось. Кормили нас хлебом из жалости постовые конвойные, насильно мобилизованные белыми, и поэтому на принесенный хороший суп все накинулись без осторожности. Те, кто валялся в тифу без сознания, остались живы, так как к супу не прикоснулись. Все же остальные умерли в страшных мучениях.

По открытии тюрем красными партизанами и по приходе больных в сознание, страшно было глядеть на застывшие скорченные трупы, с жуткой мукой в остеклевших глазах и искаженных лицах. Трупов было больше 400.

Оставшиеся в живых и выпешшие на волю буквально все встретили ее больными малярией, сыпняком и другими видами тифа.

По рассказам товарищей, бывших в руках у белых в других местах, обращение было везде совершенно одиноково. В селах они пытали и убивали огулом и поэтому восстания крестьянства против них отличались такой стихийной непреодолимостью.

П. В.

Побег из Казанской тюрьмы.

В первых числах мая 1919 года были арестованы в Казани, как левые эсеры, 6 человек. На другой же день все мы были переведены из Ч. К. в пересыльную тюрьму.

Действительно левых эсеров из нас было только трое.

Всех нас рассадили по разным общим камерам. С первого же дня мы стали думать о побеге, так как дело нас троих принимало довольно серьезный оборот, да и работа на воле не очень позволяла сидеть в тюрьме. Сначала мы предложили бежать всем, но беспартийные отказались. Тогда мы, уверив предварительно отказавшихся, что мысль о побеге нами оставлена, стали готовиться втроем. Подготовка заняла три недели. Все было условлено до мельчайших подробностей.

Между прочим, в целях, вероятно, большей изоляции нас перевели из общих камер в больницу, и дали нам отдельную камеру, где держали нас все время на замке, выпуская только два раза в день на прогулку по полу-часу. Выводил нас наш постовой и оставался во дворе во время прогулки наблюдать за нами. У ворот стоял привратник. Двор очень небольшой. Ворота выходили прямо на улицу.

Решено было бежать прямо с прогулки. Мы должны были подать знак, что мы на местах и можно начинать. По данному знаку к нам должны были придти на свидание (свидания нам давались в нашем корпусе около камеры).

Побег совершился 23-го мая. Мы подали знак. Пришедшие на свидание, войдя в ворота, сейчас же скрутили

привратника. Мы в тоже время справились с нашим конвойным. Все произошло с молниеносной быстротой.

В то время, как мы действовали на дворе, другие вольные товарищи снаружи у ворот обезоружили часового и задержали собравшихся на тревогу из других ворот, наведя их на ложный след.

Выбравшись за ворота, мы заперли их снаружи и разошлись по разным направлениям, указанным нам предварительно. Все произошло очень быстро и дружно.

Было бы все совсем хорошо, если бы не случайная гибель товарища, помогавшего с воли побегу — Льва Николаевича Шульгина, незадолго перед тем приехавшего в Казань для работы.

Гибель его случайна и трудно объяснима. Может быть, он плохо знал город и поэтому пошел не туда, куда следует, а, может быть, он намеренно увел за собой всю погоню, спасая остальных. Вернее последнее. Отстреливаясь от погони, он был ранен, и последней своей пулей, повидимому, застрелил себя.

Он был неутомимым революционером-энтузиастом при жизни. Таким и умер, прибавив еще одно имя к длинному списку левых эсеров, павших на своем посту от руки врагов социалистической революции всех мастей, или их слепых наемников.

Один из бежавших.

Памяти павшего товарища.

(Листовка Казанского Губернск. комитета — май 1919 г.).

Во время освобождения арестованных товарищей из Пересыльной тюрьмы пал смертью храбрых наш дорогой незабвенный товарищ Лев Николаевич Шульгин. В самую решительную минуту побега Лев Николаевич отвлек внимание погони всецело на себя, бросившись в сторону от своих товарищей вверх по горе. Отстреливаясь на бегу, он очутился в кольце погони. Выстрелом в голову

покончил с собой тов. Лев и своим телом прикрыл освобожденных товарищей. Пусть трудящиеся знают, что в руки палачей левые социалисты революционеры живыми не сдаются. Большевики нам объявили борьбу даже не на жизнь и смерть, а на *истребление*, — мы приняли вызов, — и гордо умираем за самое дорогое для человеческой личности — *свободу*.

На твоей свежей могиле мы клянемся, незабвенный товарищ, бороться за святое дело освобождение родного народа, за которое ты так самоотверженно отдал свою пламенную жизнь.

Прощай, родной.

Казанский Губернский Комитет партии лев. С.-Р.

Побег из Челябинска.

12-го апреля 1920 г. из помещения для арестованных при Челябинской Губ. Ч. К. был совершен побег 6-ти наших товарищей и одного анархиста. Отправившись к 10-ти часам вечера с двумя конвоирами в баню, помещающуюся в соседнем доме (занимаемом тоже Губ. Ч. К.), они воспользовались темнотой и, разоружив конвой, перепрыгнув небольшой забор, скрылись. Совершено это было вскоре после прихода в баню, так как оставшиеся услышали тревогу не более чем через 20—25 минут. Поняли, что побег совершен и стали готовиться к приему гостей. Долго ждать не пришлось. Минут через пять в комнату буквально влетел комендант Губ. Ч. К. с несколькими вооруженными чекистами, разъяренный, с площадной бранью, угрозами и, наставив револьвер на одного из товарищей, стал требовать, чтобы немедленно ему было сообщено, кто из наших, сколько и куда бежало, кто способствовал побегу, грозил немедленно расстрелять, отдать на растерзание конвойной команды и т. д. Здесь же следователями был произведен общий и личный обыск, конечно, не давший никаких результатов. Час, полтора запертые товарищи ждали с минуты на минуту расправы, так как конвоиры, озлобленные до крайних пределов, толпились у окон дверей, осыпали их проклятиями, угрозами, потрясали оружием. К 12-ти часам ночи стали вызывать по одному на допрос, причем допрошенные уже обратно не возвращались, и на вопрос, где они и что с ними, получали довольно циничный ответ — «там, где давно бы следовало быть и где вы скоро очутитесь».

Как выяснилось позже, для того, чтобы вселить в конвоиров, до сих пор хорошо и даже с сочувствием относившихся к арестованным товарищам, злобу и ненависть, были сейчас же после побега мобилизованы агитационные силы челябинской Р.К.П., разъяснившие, конечно, по своему, красноармейцам, кто такие левые эсеры, чего добиваются и т. д., кроме того, была пущена клевета, что бежавшие задушили одного конвоира, а другого избили. Было такое впечатление, что, не имея возможности, не имея права самим расправиться желательным для них способом (товарищи оставались в ведении В.Ч.К.), Челябинская Ч. К. провоцировала конвой, толкая его на самосуд. Допрашивал президиум Ч. К. Получив отрицательный ответ на требование указать путь беглецов, заведующий секретно-оперативным отделом, непосредственно которому сосланные товарищи и были переданы, Козопольский (ныне расстрелянный, как белогвардеец) предлагал готовиться к смерти, как только «остальная сволочь будет допрошена» (оставшиеся товарищи). Пока что, отводили в холодную. Тов. Осипова, резко отвечавшая на допросе, просидела полтора часа в погребке, в крысиной яме. Один за другим к утру собрались все товарищи, и только тов. Карбиков, вызванный первым на допрос, был приведен к часам 11-ти утра. Оказалось, что на него, как на первого, обрушились с особой силой представители Челябинской Ч. К. — отводили в сарай, ставили к стенке, отдавали приказы к расстрелу, останавливая в последнюю минуту, приносили огонь для пытки и т. д. Товарищ вернулся измученным и совершенно больным от пережитого. Весь этот день провели в холодной без пищи и воды, и на просьбу разрешить только больным товарищам (а таковых было 4 человека) принести теплую одежду, получили грубый отказ. На третий день, к 4-м часам дня, их отправили под усиленным конвоем в Центральную тюрьму, и все это с бранью, ежеминутным приставлением револьвера, угрозами и т. д. Да при этом сообщали каждый раз, что бежавшие пой-

маны, что есть убитые и т. д., и наслаждались впечатлением, произведенным этими словами. Погоня, отправленная вслед бежавшим, арестовала всех попадавшихся на дороге, брали ночью и рано утром, так что по делу лев. с.-р. в Челябинской Ч.К. сидело от 1 до 3-х месяцев несколько десятков совершенно невинных людей, главным образом, крестьян, отправлявшихся рано по утру на работы.

Е. Е.

*Из письма тов. Ляшко, бежавшего из Челябинской
Ч. К. бутырским товарищам.*

Дорогие товарищи!

Уже скоро 4 месяца, как вас и всех товарищей не видел. Как хочется увидеть вас всех, но только не в большевистских застенках. Вы, наверное, еще томитесь в большевистской Бастилии. Я и со мной 5 наших товарищей (Худковский, Павел Богданов, Ситников, Агалов, Касьянов и еще один местный анархист) бежали из Челябинской Ч.К. Трое отстали от нас и до сего времени мы не знаем ничего о них. Мы же пока живы и в руки Ч. К. не попали. Пишу, пользуясь случаем. Не знаю, что писать—слишком много впечатлений за короткий период времени. А писать много нет возможности.

Так вот, 4-го марта нас разделили на 4 группы — в Вятку, Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Разделили помимо нашего согласия—кого с кем. Из Челябинска мы бежали с 12-го на 13-ое апреля вечером, часов в 11. Прошли пешком около 1200 верст. Приходилось трудно. В пути познакомились с несколькими племенами, — как-то: русские казаки, киргизы, мордва, башкиры, чуваша, татары . . . Все они относятся очень плохо к коммунистам. Некоторые станицы и поселки не давали правительству хлеба, требуя в обмен необходимых товаров. Казаки и туземцы Тургайской области говорят, «нам самим управлять собой». С

несколькими говорили откровенно, объяснили нашу программу. Одобряют. Говорят: «мы все этого хотим». Почва здесь наилучшая для нас. Большевики еще не успели настолько запугать их, терроризовать, как в центральной России.

В Уфимской губернии было восстание, подавленное с жестокостью средних веков. По официальным данным расстреляно 10 тысяч крестьян, а по неофициальным, говорят, 25 и больше.

Когда поговоришь с рабочими и крестьянами, то, кажется, чудовищным, как большевики могут держаться, когда около 99% населения против них. Это только может быть при отчаянной запуганности трудящихся, как было и при Романовых . . . до поры до времени. . . .

1920 г. июнь.

Ваш Николай.

Голодовка сорока двух.

Во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.

Заключенных левых социалистов-революционеров (Интернационалистов) в тюрьме Государственного Политического Управления (Москва, Кисельный переулок)

Заявление.

Несмотря на то, что Правительство в своем декрете от 6-го февраля 1922 г. об упразднении Чрезвычайных Комиссий дало обязательство в срочном порядке рассмотреть все дела арестованных граждан (в том числе, конечно, и социалистов) до настоящего времени ни одно дело Левых Социалистов-Революционеров (Интернационалистов) заключенных в разных тюрьмах России не рассмотрено. Учитывая указанное обязательство правительства, а также и то, что Левые Социалисты-Революционеры (Интернацион.) сидят в тюрьмах год-два-три и более и притом без предъявления обвинения и без намека на какой либо приговор, хотя бы со стороны современных судов, целиком подчиненных правительствующей партии и выполняющих ее директивы, мы категорически требуем, чтобы все дела Левых Социалистов-Революционеров (Интернацион.) были рассмотрены в кратчайший срок.

Если тем не менее правительственные органы не рассмотрят наших дел, мы принуждены будем вступить в защиту своих элементарных прав на путь борьбы, апеллируя вместе с тем к трудовым массам России и Запада по

поводу издевательств над революционными социалистами в России со стороны правительства.

По поручению заключ. лев. с-р.

Я. Богачев, М. Самохвалов.

Москва, 26 марта, 1922 г.

В центральный исполнительный комитет.

(Копия Государственному Политическому Управлению).

Заключенных в тюрьме Госполитуправления (на Кисельном п.) *левых социалистов революционеров Интернационалистов*

Заявление.

С того момента, как в середине 18 года партия большевиков отказалась от истинно советского принципа власти, проводя во внешней политике линию соглашения с мировым империализмом, а во внутренней гибельную диктатуру своей партии над трудящимися, последовательно советская и непримиримо революционно-социалистическая партия левых Социалистов Революционеров (Интернационалистов) подвергается неслыханным непрерывным погромам со стороны полицейских органов Р.К.П. со стороны В.Ч.К.

Все ужасы царского режима в расправе его над социалистами превзойдены террористической практикой большевиков за эти годы расправы со всеми, кто противопоставил Р. К. П. свою программу социалистического строительства и помогал трудящимся в их борьбе с произволом и жестокостями агентов Советской власти.

В ряду остальных социалистических партий (меньшевики, социалисты-революционеры) на партию Левых социалистов-революционеров, как на оппозицию слева, выпали особенно тяжкие испытания.

Все меры борьбы вплоть до массовых расстрелов, массового заложничества, избиений, насаждений кучи провокаторов, и т. д. были пущены в ход В.Ч.К. в борьбе с партией Левых социалистов революционеров (Интер.).

За эти кровавые годы часть партии физически истреблена, часть длительным сидением в тюрьмах, при плохом питании, частых голодовках, вызванных провокациями со стороны агентов В.Ч.К., избиениями (Бутырские события, избиения т. Елисеева в 20 году во внутренней тюрьме В.Ч.К. начальником тюрьмы Дукесом) — окончательно расшатала свое здоровье.

При отсутствии всякой гласности, при отсутствии свободной прессы при общей запуганности и терроризированности страны, агенты В.Ч.К. в центре, и с особой жестокостью и зверством в провинции, творили свое темное дело над борцами за революционный социализм. На пятом году диктатуры Р.К.П. в большевистских тюрьмах, исключая провинциальные и тюрьмы так называемых автономных республик, о которых у нас нет точных сведений, томятся десятки Левых социалистов революционеров. Из них т. т. Державин, Ерухимович, Лутард сидят более трех лет: т. т. Майоров, Соловьев, Филатов, Попов, Абрамов, Мирсков и др. около 3-х лет; товарищи Самохвалов, Закревский, Ган, Камков, Трутовский, Богачев, Каховская, Подгорский, Богоявленская, Павлов, Боровков, Кербиков, Смирнов, Елисеев, Антипов, Голубков, Селяков, Новиков, Бедаев, Степанов, М. Попова, Мартиновский, Богданов, Красевская, Головина, Белая, Уткин, Смирнова, Азарченко, Л. Суркова, Троцкая, М. Жуков, Твеленев, Петров, Власов, Баташев, и др. за немногим исключением около 2-х лет и не менее года.

Поименованные 42 товарища, которые составляют незначительную часть сидевших в большевистских тюрьмах (в одной Бутынской тюрьме в 19 году сидело 250 членов партии левых С. Р.) в общей сложности провели в тюрьме за период диктатуры Р.К.П. 87 лет и 9 месяцев и проголодали в общей сложности 510 дней.

Все они сидят без суда и следствия, все пережили несколько насильственных развозов по разным тюрьмам,

(вплоть до Сибирских), все многократно, как указано, голодали. Многие товарищи, в том числе т. т. Суркова, Троцкая, Красовская, Подгорский, Трутовский и др. тяжело больны, многие туберкулезом в острой форме, пороком сердца и т. д.

Число умерших товарищей в большевистских тюрьмах (т. Зерцалов—член Калужского Губернского Комитета партии, т. Морозов, Сомов, рабочий Путиловского завода, член Петроградской организации; т. Скрытников, т. Залыгин, т. Богулюбов, член Уральского Областного Комитета партии, и др.) грозит увеличиться новыми жертвами. Борьба за освобождение в таких условиях есть элементарная борьба за жизнь. Левые Соц. Рев. тем не менее такой борьбы до сих пор не объявляли, ограничивая всегда свою борьбу требованиями человеческих условий тюремного пленения, ибо открытое признание большевистским правительством отсутствия всяких прав за гражданами Р. С. Ф. С. П., поскольку они не состоят членами Р. К. П., делало такую борьбу для революционно-социалистической партии морально неприемлемой.

Сейчас, идя на уступки международному Капиталу, Советская власть, уничтожением В. Ч. К. и смыслом декрета от 6-го февраля т. г. как будто бы гарантирует гражданам некоторые элементарные минимальные права, обещает прекратить беспредельный разгул расправы партийной мести. В связи с этим логически следовало бы ожидать освобождения левых Соц. Рев. Поскольку они сидят от 1-го до 3-х лет и к ним никакого обвинения не было предъявлено, а следовательно, и не могло быть предъявлено. На деле, однако, все осталось по старому и декрет, видимо рассчитанный для внешнего экспорта, никакого употребления внутри страны не получает. Замечается даже обратная тенденция. Прикрываясь маской законности, полицейские органы Р. К. делают попытку учинить еще более дикую расправу над теми Соц. Рев., которые находятся в большевистских застенках.

В срочном порядке, пытаются рассогать членов партии левых Социалистов-Революционеров по концентрационным лагерям (местам дикой расправы, очагам небывалых эпидемий, массового вымирания.)

Так тов. Полубояринов, отправленный из Бутырки, яко бы на вольное поселение, заточен там в худшей из всех каторг — конц. лагерь. Т. Иерухимович, и т. Твеленев получили пятилетнюю ссылку туда же.

В эту же каторгу и рассадник заразы несколько раньше направлены целыми группами лев. С. Р. из различных мест провинций, как например, несколько десятков товарищей из Донской Области, Урюпинской станицы, и других мест. С другой стороны, т. Иван Елисеев, провокационно вызванный, без вещей на допрос, насильственно ввергнут в застенок, именуемый «внутренней тюрьмой В.Ч.К.» и ему заявлено о передаче «дела» его в Революционный Трибунал. Судьба т. Антипова также провокационно взятого во внутреннюю тюрьму, нам неизвестна. Мы не раз заявляли и сейчас подтверждаем, что в любой момент готовы предстать перед судом Трудящихся России и Запада и оправдать свою программу и тактику.

Мы не сомневаемся, что такого суда, который не одобрил бы борьбу партии левых С. Р., как с мировым Империализмом, так специально с белогвардейскими нашествиями, так и, наконец, с той губительной политикой П.Р.К., которая привела трудящихся на край физической гибели, нет и быть не может. Поскольку при нынешних условиях в России свободный суд трудящихся не может иметь места, в виду отсутствия свободы у самих трудящихся, мы считаем единственно правильной инстанцией для разбора тяжбы Р.К.П. с нашей партией, мировые пролетарские организации, в лице Венского Интернационала и других классово-пролетарских объединений. Суд же Р.К.П. который по приказу в любой момент готов строчить любое обвинение и которому Полит-Бюро Р.К.П. предварительно предписывает приговоры, никто из нас за суд

трудящихся признать не может. Это один из видов партийной расправы, не больше. В конкретных же условиях попытка фабриковать обвинение заведомо преследует задачу под видом следствия «суда» продолжать систему заложничества и физического истребления партии левых Соц. Рев.

В виду всего вышеизложенного, коллектив левых Соц. Рев. (Интернационалистов) заключенных в тюрьме Гос. Пол. Управления, исчерпал все возможности, путем переговоров с представителями правительства прекратить систему расправы Р.К.П. над членами партии лев. Соц. Рев. Не получив никакого официального ответа на письменное заявление коллектива на имя ЦИК. и Гос. Полит. Упр. от 27 марта с. г. о срочной ликвидации наших дел, — с 4-х часов дня 1-го апреля сего года объявляем голодовку с категорическими требованиями:

1. Немедленного освобождения всех левых Социалистов Революционеров (Интернационалистов), заключенных в большевистских тюрьмах, на всей территории Р. С. Ф. С. Р.
2. предоставление свободного выезда за границу тем Лев. Соц. Рев., которые этого пожелают или кого правительство не сочтет возможным освободить.

Мы не сомневаемся, что в этой нашей вынужденной борьбе крайними средствами, которые предоставлены революционерам в тюрьмах, симпатии всех трудящихся России и всего мира будут на нашей стороне.

По поручению Коллектива Соц. Рев. (интерн.), заключенных в тюрьме Гос. Политуправления на Кисельном.

Борис Камков, Яков Богачев, Андрей Попов.

1922 г. 1-го апреля.

Толодовка продолталась 9 дней — с 1-го по 9-е апреля 1922 г. Закончилась она после обещания освободить часть арестованных. Обещание, разумеется, исполнено не было.

Жертвы большевистского и белогвардейского террора.

I. Жертвы коммунистического правительства.

1. *Тов. Александрович*, Петр (Дмитриевский) — старый партийный работник. Был расстрелян в Москве 13 июля 1918 года Коммунистическим Правительством вместе с 13-ю матросами — финами.

2. *Тов. Емельянов* — член Гельсингфорской организации матросов, расстрелен вместе с Александровичем.

3. *Тов. Шульгин* — Лев Николаевич — член Рязанского комитета партии лев. соц.-рев., убит коммунистами в Казани при помощи в побеге из тюрьмы 3-м товарищам. Лев Николаевич взял на себя всю погоню, обеспечив всем другим свободное отступление. Над трупом его надругались расвирепевшие чекистские банды. В Рязани в период Советской власти, был комиссаром Земледелия бесменно.

4. *Тов. Пономарев*, Николай Павлович — председатель Казанской организации партии лев. соц.-рев., предательски расстрелянный в спину чрезвычайником Ивановым на улице за огромное влияние на трудящиеся массы и непримиримость к коммунистам. Тов. Пономарев был на всех съездах, и в крестьянской секции, председателем.

5. *Тов. Махнов*, А. Н. — бывший председатель Котельничского Исполкома, член фракции В. Ц. И. К. 3-го созыва. Комиссар по народному образованию. Расстрелян в Котельничах, Вятской губернии, за принадлежность к

партии лев. соц.-рев. и за отказ отречься от нее. Большевики заставили его рыть себе могилу, он согласился с условием, дать ему пять минут говорить. Его последние слова были: «Да здравствует Социалистическая революция».

6. *Тов. Мисуно*, А. С. — крестьянин Минской губернии, член крестьянской секции В. Ц. И. К., член президиума 2-го и 3-его Всероссийских крестьянских съездов, крупный партийный работник, выдвинутый массами в февральско-октябрьскую революцию. Расстрелен за принадлежность к партии лев. соц. рев. и за отказ отречься от нее. Расстрелен в Котельничах вместе с товарищем **Махновым**.

Так как Мисуно рыть себе могилу отказался, то перед расстрелом был подвергнут мучениям (кололи штыками и проч.).

7. *Тов. Бормотенко*, Никита — крестьянин, член уездной организации партии лев. соц.-рев. Смоленской губернии. Расстрелян большевиками за принадлежность к партии лев. с.-р.

8. *Тов. Шашков* — матрос Черноморского флота. Вместе с 9-ю другими матросами, левыми эсерами, расстрелян за мирную демонстрацию по Петрограду рабочих и матросов 14 октября 1918 года, с требованием у коммунистического правительства власти Советов. Тов. Шашков, дравшийся с белогвардейцами на несколько фронтах, был известен флоту, любим и уважаем товарищами, как подлинный народный герой.

Вместе с ним были расстрелены матросы: 9. *Тарасов*, 10. *Шанин*, 11. *Чесноков*, 12. *Севрюков*, 13. *Хлебников*, 14. *Рубинэв*, 15. *Соловьев*, 16. *Гегушев*, 17. *Кольцов*.

18. *Тов. Хаскелис* — студент, с оторванными (поездом) по плечи руками. Расстрелен за прочтение декларации партии лев. соц.-рев. в Петроградском Совете по поводу мирной демонстрации рабочих и матросов. Ему

инкриминировалось, что декларация была составлена и «написана его собственной рукой».

19. *Тов. Озера* — бежавший от преследований царского правительства в Китай, был командующим революционными войсками против Юаншикая. С октябрьской революции бесценно дрался с белогвардейцами. Ползуясь огромной популярностью в войсках, а потому и удачей в бою, успевал отражать на юге России натиск белых с 4-х сторон. Всегда сам участвовал в боях, был покрыт ранами (37 ран) и весь искалечен. Белые вырезали после пыток всю его семью на площади в Ростове на Дону. Попытки Коммунистического Правительства арестовать Озера, как левого социалиста-революционера, пользовавшегося громадной популярностью, кончились неудачей из-за защиты его войсками. Был захвачен хитростью и расстрелен.

20. *Тов. Степанов*, Андрей — член Ревельского Совета, редактор матроской газеты после февральской и октябрьской революции. Крупный партийный работник. При попытке бежать из Бутырок, где он сидел за принадлежность к партии лев. соц. рев., убит коммунистическими охранниками 22 марта 1920 года.

21. *Тов. Полунин* и 23. *Тов. Добролюбов* — рабочие, члены Петроградской организации партии лев. соц.-рев., дравшиеся на южном фронте против белых. Попад к большевикам, при участии в крестьянском движении, расстрелены, как лев. эсеры.

23. *Тов. Кривобедров* — рабочий, крупной партийный работник. Деятельный участник и инициатор железнодорожной забастовки на Украине при белых. По свержению белых и замены их большевиками был арестован и расстрелян, как лев. эсер.

24. *Тов. Исачик* — член Петроградской организации, студент. Дрался под Харьковом с белыми. Арестованный большевиками за участие в крестьянском движении — был расстрелян.

25. *Тов. Цветков* — принявший со своим отрядом главную тяжесть первой борьбы с белыми на Харьковском фронте. Был расстрелян большевиками, как лев. эсер.

26. *Тов. Зерцалов*, Александр, арестованный за принадлежность к партии лев. с. р., председатель Калужского Губернского Комитета, умер в Бутырской тюрьме во время голодовки, объявленной им при требовании лучших условий в больнице, где лежал больным.

27. *Тов. Залыгин* — рабочий, умер от сыпняка в Бутырской тюрьме, арестован как лев. с. р.

28. *Тов. Голубовский* — бывший член Ц. К. партии лев. с. р., заболел тифом при затяжной голодовке в Харьковской тюрьме. Не прерывая голодовки, в тифу умер.

29. *Тов. Балдин* — старик член Украинской организации партии лев. соц. рев., умер в Воронежской тюрьме, арестован большевиками за принадлежность к партии.

30. *Тов. Сандуров*, Кондратий — начальник Петроградской Боевой дружины, член Петроградской Районной Организации Путиловского завода. Принимал деятельное участие в борьбе с белогвардейцами при установлении власти Советов в октябре. При попытке к побегу был на смерть ранен чекистом.

II. Жертвы белогвардейского террора.

31. *Минна Капелуш* — член Московского комитета партии лев. соц.-рев.

32. *Тов. Петроченко* и 30. *Тов. Петровский* — члены Украинской организации партии лев. соц. рев., убиты агентами пограничной стражи между Россией и Украиной, в постоянной избушке, где трое товарищей остановились на ночевку, дожидаясь переправы на Украину.

34. *Тов. Киквидзе* — народный герой, все время сражался на фронте против белых. Занимая крупный командный пост, всегда лично участвовал в боях. Был очень

популярен в красноармейских массах, что крайне беспокоило коммунистов, не имевших возможности ни арестовать его, как левого эсера, ни сместить с военного поста. Незадолго до смерти, Киквидзе попались в руки документы о подготовке на него покушения тайной боевой дружиной, приехавшей из Питерской Ч. К. Вскоре Киквидзе был «убит на фронте», как гласило казенное большевистское извещение.

35. *Тов. Костин*, Дмитрий — товарищ Наркома Земледелия в период власти Советов в России (октябрь 1917 г. июль 1918 г.), старый партийный работник. Убит в Пензе при занятии города белогвардейцами.

36. *Тов. Шевырев*, Владимир — член Рязанской организации, член боевой организации партии лев. с.-р., расстрелен белыми в Житомире.

37. *Тов. Степанов* — член Гельсингфорской организации, убит белыми в Полтаве.

38. *Тов. Маслов* — член Гельсингфорской организации, расстрелен финскими белогвардейцами.

39. *Тов. Ян. Пэгле* — бывший каторжанин, старый партийный работник, председатель боевой дружины, работавшей на Украине во время оккупации ее белыми. Был при аресте подвергнут жестоким пыткам, потом убит.

40. *Тов. Рупусов*, Виссарион («Туля») — член боевой дружины Паэгле. Подвергнут жестоким пыткам и расстрелен.

41. *Тов. Федюков*, Константин, член боевой дружины Паэгле, подвергнут жестоким пыткам и расстрелен.

42. *Тов. Кустов*, Сергей — член боевой дружины Паэгле, убит белогвардейцами.

43. *Тов. Борис Донской* — член кронштадского совета и партийной организации, член боевой дружины партии лев. с.-р.

В Благовещенске в 1920 году вышла под редакцией максималистов И. Жуковского и З. Монина книга «Красная Голгофа». Это — сборник, посвященный памяти товарищей, погибших за рабоче-крестьянское дело в Сибири за годы революции.

Из богатейшего материала ее приведем здесь лишь данные об убитых лев. соц.-рев. и максималистах и некоторые письма первых.

44. *Шумилов* — максималист.

45. *Хабаров* — максималист.

46. *Поспелов* — лев. соц.-рев. (комиссар труда Амурского исполкома).

По делу подготовки восстания в Благовещенске.

47. *Илья Подглазов* — максималист.

Убиты японцами:

48. *Александр Лебедев* — л. с.-р. (начальник отряда подрывников).

49. *Челянцев* — максималист.

50. *Иван Ошко* — лев. соц. рев. (член Ц. И. К.).

51. *И. Григорьев* — макс. (член Б. О.).

52. *Ив. Бутин* — л. с.-р. (председатель Забайк. обл. исполкома).

53. *Василий Верес* — макс.(за покушение на Семенова).

54. *Ада Павловна Лебедева* — л. с.-р. (член Красн. Совета).

55. *Аксенов* — макс. (чл. Забайк. исполкома).

56. *Александр Петров* — л. с.-р. (застрелился при аресте).

57. *Федрин* — л. с.-р. (предс. Центр. ком. Ам. жел. дор.).

58. *С. Колейко* — л. с.-р. (умер в тюрьме).

59. *Борис Вен. Добровенский* — л. с.-р. (редактор газ. «Красный Клич» и комиссар призрения в Чите) — умер в тайге от тифа.

60. *Дуленов* — л. с.-р. (в Нерчинске).
 61. *Козловский* — макс. (убит в тайге, в Приморской области).
 62. *Самаров* — макс. (умер в тюрьме от ран, в Никольско-Уссурийске).
 63. *Г. Чупров* — макс. Нерчинск.
 64. *Бакшеев* — казак-макс. Нерчинск.
 65. *Долинин* — казак-максималист Нерчинск.
 66. *Козулин* — л. с.-р. — Нерчинск.
 67. *Ал. Камерон* — макс. (член Ксениевского Совета).
 68. *Устюменко* — макс. (предс. горного коллектива).
 69. *А. Мазурин* — л. с.-р. (брат макс. Вл. Мазурина, член Красноярского исполкома).
 70. *Як. Петров* — макс. (убит во время нападения японцев).
-

В «Красной Голгофе» помещены статьи, посвященные т. т. Лебедевой, Добровенскому, Сибирякову и Бутину. Приводим посмертное письмо его к товарищам.

«Милые, дорогие все мои родные и товарищи! Вне всякого сомнения сегодня я буду убит без всякого «суда и следствия».

Повидимому, даже в. п. суд для меня в Чите не назначен. Ну, что же... Прощайте, прощайте, милые. Конеч. Я совершенно спокоен. Смотрю в последний раз на заходящее солнце и благословляю жизнь. Да, даже эту кошмарную жизнь этого времени. Знаю, глубоко верю, что она будет такой же яркой и светлой, как это солнышко. Завещаю всем не грустить по мне, а мужественно бороться до заветного конца. Обнимаю всех и крепко, крепко целую. Весь ваш — Иван».

16. 4. 1919 г.

Приводим также из того же сборника предсмертное письмо Иннокентия Сибирякова — «всему трудовому народу и товарищам социалистам»:

Не мстите!

«Догорие товарищи! Умирая, я шлю Вам свой последний привет и завет не оплачивать врагам нашим той же монетой, какой они платили нам.

Среди социалистов нет места чувству мести. В тот момент, когда надо мною тяготеет смертный приговор, в последнюю минуту перед казнью я восклицаю: «долгой смертную казнь, кем бы и над кем бы она ни производилась. Я умираю, когда красное знамя социальной революции высоко вознеслось почти над всем земным шаром, когда пламя революционного пожара из России перекинулось в Западную Европу, когда искры этого пожара разносятся по всей земле и еще последнее усилие и победа будет одержана.

Не унывайте, товарищи, не складывайте рук и не отчаивайтесь — боритесь. Борьба еще не кончена, но конец ее близок. Пусть мы, отдельные личности, умираем. Но, умирая, мы знаем, что враги наши, казня нас, не видят, что с каждой новой казнью все больше растет число приверженцев нашей идеи, что все более и более увеличиваются ряды бойцов за счет инертной, только сочувствующей массы. Весь трудящийся люд с нами и если первые дни победы не будут омрачены казнями, он останется с нами навсегда.

Мой старик — отец казнен в Верхнеудинске и кто знает его, тот скажет, что казнь эта настолько жестока, насколько и бессмысленна. В последний раз, товарищи, я обращаюсь к вам с призывом:

«Пусть в тот момент, когда вы одержите победу вместе с победным кличем у вас вырвутся слова: «Долой смертную казнь, не нужно мести. Народ победитель не может быть палачем.»

А теперь, товарищи, организуйтесь на последнюю борьбу. К оружию, товарищи. К борьбе с паразитами трудящихся масс.

Помни, трудящийся, что только в борьбе обрешь ты право свое.

Да здравствует социализм! Да здравствует социальная революция! Да здравствует власть трудового народа, несущая миру свободу, мир, любовь, равенство и братство.

Прощайте...

И. Сибиряков.

(И. И. Сибиряков — член Иркутской организации л. с. р., активный участник борьбы. Казнен по приговору белогвардейцев в Благовещенске в январе 1919 г.).

Левые социалисты- революционеры, заключенные в советских тюрьмах.

В тюремном
под'отделе Московского Полит'отдела (б. МЧК.)
(в Кисельном переулке).

	Арест. в			Всего сидит
1. Азарченко, Г. Р.	авг.	1921 г.	Первый раз	8 м.
2. Антипов, А. М.	июне	1921 г.	" "	10 м.
3. Богданов, Л. Г.	авг.	1921 г.	" "	8 м.
4. Беревков, С. П.	авг.	1921 г.	" "	8 м.
5. Бедаев, И. К.	авг.	1921 г.	" "	8 м.
6. Вегачев, Я. Г.	февр.	1921 г.	Второй	2 г.
7. Ган, С. С.	сент.	1921 г.	Третий	2 г.
8. Ерухимович, Ш. И.	"	1920 г.	Второй	3 г.
9. Елисеев, И. Е.	март	1921 г.	" "	2 ¹ / ₂ г.
10. Камков, Б. Д.	февр.	1921 г.	" "	1 ¹ / ₂ г.
11. Корбиков, П. П.	февр.	1921 г.	Первый	1 г.
12. Майоров, И. А.		1919 г.	" "	2 ¹ / ₂ г.
13. Мартиневский, А. И.	авг.	1921 г.	Второй	1 ¹ / ₂ г.
14. Новиков, Н. А.	март	1921 г.	" "	2 г.
15. Подгорский, Н. К.	июнь	1921 г.	" "	2 г.
16. Павлов, А. М.	март	1921 г.	Первый	1 г.
17. Попов, А. И.		1919 г.	" "	2 ¹ / ₂ г.
18. Соловьев, С. Ф.	окт.	1919 г.	" "	2 ¹ / ₂ г.
19. Смирнов, П. А.	авг.	1921 г.	" "	8 м.
20. Самохвалов, М. Д.	окт.	1920 г.	Второй	2 г.
21. Селяков, В. Ч.	июнь	1920 г.	Первый	1 ¹ / ₂ г.

	Арест. в			Всего сидит
22. Степанов, Е. И.	авг.	1921 г.	„ раз	8 м.
23. Трутовский, В. Е.	март	1921 г.	Третий „	2½ г.
24. Уткин, В. Н.	авг.	1921 г.	Первый „	8 м.
25. Филатов, Е. Ф.		1919 г.	„ „	2½ г.
26. Шерстнев, Г. Н.	авг.	1921 г.	„ „	8 м.
27. Шестаков, И. И.		1921 г.	„ „	8 м.
28. Каховская, И. К.	март	1921 г.	Третий „	1½ г.
29. Богоявленская, С. А.	май	1921 г.	„ „	2 г.
30. Попова, М. М.	март	1921 г.	Первый „	1 г.
31. Красовская, Г. В.		1921 г.	Второй „	2½ г.
32. Смирнова, Е.	авг.	1921 г.	Первый „	9 м.
33. Белая, П.	май	1921 г.	„ „	10 м.

В Таганской тюрьме (Москва)

1. Сперанский	февр.	1921 г.	Первый „	1 г.
---------------	-------	---------	----------	------

В Ярославской б. каторжной тюрьме.

1. Мироков, А. М.		1919 г.	Первый раз	3 г.
2. Абрамов, Г.		1920 г.	„ „	2 г.
3. Баташев, И.		1920 г.	„ „	2 г.
4. Закревский		1921 г.	Второй „	2 г.
5. Лутард	авг.	1918 г.	Первый „	3½ г.
6. Жуков, М. С.	март	1921 г.	Второй „	1½ г.
7. Власов, А. И.	авг.	1921 г.	Первый „	8 м.
8. Державин, П. В.		1919 г.	„ „	3 г.
9. Петров	авг.	1920 г.	„ „	1½ г.
10. Суркова, Л.	март	1921 г.	Второй „	2 г.
11. Троцкая, К. Г.	авг.	1921 г.	Первый „	8 м.

В Петроградских тюрьмах.

1. Береснев	окт.	1921 г.	Первый раз	6 м.
2. Богданов, Пав.	окт.	1921 г.	Второй „	2 г.
3. Осипова	февр.	1921 г.	„ „	2 г.

**В Архангельском концентрационном лагере
(на 5 лет).**

	Арест. в	Всего сидит
1. Полубояринов, Ф. И.	окт. 1920 г. Первый раз	1½ г.
2. Твеленов, М.	авг. 1921 г. Второй „	2 г.

Под домашним арестом.

1. Спиридонова, М. А.	1920 г. Третий раз	2½ г.
2. Измайлович, А. А.	1919 г. Первый „	2½ г.

Всего арестованных 52 человека, из них сидит:

3 и более лет	4 челов.
2½ и „ года	9 „
2 и „ года	13 „
1½ и „ года	7 „
1 и „ год	4 „
менее года	15 „

Высланы на поселение.

1. Розенберг, А. в Северо-Двинскую губ.
2. Чупурнова, Н. в Тульскую губ.
3. Абрамова, Н. в Тульскую губ.
4. Чилингарьянц, А. в Азербейджан.

Относительно М. А. Спиридоновой возбуждался в В. Ч. К. вопрос о разрешении ей выезда за-границу. На это заведующий В. Ч. К. Уншлихт ответил представителю Красного Креста, что разрешить выезд нельзя, ибо за-граничная жизнь может скверно отразиться на ее здоровье.

Лучше тюрьма!

В Политический Красный Крест.

Заявление.

В течение ряда месяцев, как я уже неоднократно заявляла Кр. Кр., хозяева нашей с М. А. Спиридоновой квартиры в Малаховке показывали всеми способами желание расстаться с нами, причем очевидной и несомненной причиной этого являлась гласная слежка за домом и посещения нас (явные и замаскированные) агентами Ч.К. (Полит-Управления). В настоящее время условия совместной жизни нашей стали до того затруднительны, отношения столь испорчены, что дальнейшее наше пребывание здесь явилось бы прямым нажимом. Кроме того у меня есть все основания полагать, что на нашу дачу вселены в виде жильцов агенты Ч.К. — (П.-У.) и что хозяева сами, вполвину или совсем стали ими же. М. А. это как всегда угадывает раньше меня; положение ее сразу стало хуже.

Попытка перейти на другую квартиру дела не изменит, разве только ухудшит, так как всякий переезд на нее действует крайне болезненно; условия же на другой даче, в московской квартире или в санатории — Ч. К. создаст те же — опять вселив нам на голову своих агентов.

Мое заявление через Красный Крест о разрешении М. А. выезда за границу, очевидно, судя по молчанию Полит-Управления и на этот раз будет решено в отрицательном смысле. Создается тяжелое положение, из которого лучший выход, раз отказано в выезде за границу, — *простая тюрьма*, где все ясно и определено — тюремщик есть

тюремщик, врач есть врач, товарищ — товарищ; нет маскировки, лжи, косых подсматривающих глаз, подслушиваний и прочей ужасающей моральной атмосферы, которой богата была больница в Штатном, бывшая утонченнейшим местом пытки больной и с чем однородным становится наше Малаховское пребывание.

И столько же исходя из ясно выраженного желания больной, сколько из своего убеждения, я обращаюсь в Красный Крест с просьбой всячески добиваться возможности нашего с Марией Александровной помещения и Таганскую тюрьму, в нормальную среду товарищей по заключению, с которыми мы можем быть в общении вне всякой слежки и разрешений, чем в значительной мере будет нейтрализовываться угнетение психически больной решетками и внешне-очевидным заключением.

Условия «воли» (под хуже чем гласным надзором), созданные для нас в Ч.К., являются не меньшим издевательством и вредом для нас, создавая лишь власти ложное реноме «гуманности».

А. Измайлович.

11 июня 1922 г.

Ч.К.

Нам доставлен любопытный документ из Тверской Чрезвычайной Комиссии. Приводим его полностью:

Обязательство.

Даю настоящее обязательство Тверской Губчека в том, что я нижеподписавшийся обязуюсь соблюдать полную конспирацию своего сотрудничества в Губчека в качестве осведомителя своей работы и какой бы то ни было связи с Губчека. Все распоряжения и поручения обязуюсь беспрекословно и аккуратно исполнять. Письменные доклады буду подписывать

За нарушение настоящего обязательства подлежу наказанию как за разглашение военных тайн.

Подпись:

Осведомителя завербовал

Краткая характеристика осведомителя:

(На обороте «обязательства»):

Личная карточка осведомителя:

1. Фамилия, имя и отчество:
2. Возраст:
3. Национальность:
4. Гражданство (подданство):
5. Место рождения:
6. Родной язык:
7. На каких языках говорит:

8. Партийность, точно указать в какой партии состоит, с какого времени, № парт. билета и какой организации:
9. Состоял ли еще в других партиях и сколько времени:
10. Профессия:
11. Состоит ли членом Профсоюза и какого:
12. Место службы и занимаемая должность в настоящее время: :
13. Чем занимался до Октябрьской революции:
14. Семейное положение:
15. Имеет ли какую либо связь с родственниками или знакомыми, проживающими за границей и в чем она заключается:
16. Адрес местожительства (осведомителя и семьи):
17. С какого времени служит осведомителем:

Подпись:

СОДЕРЖАНИЕ.

1. Кремль за решеткой. (Письма из кремлевой тюрьмы М. А. Спиридоновой и А. А. Измайлович.)	
Первый арест (письмо А. А. Измайлович)	7
М. А. Спиридонова	14
Санаторный режим (письма М. А. Спиридоновой)	17
Спиридонова в тюрьме (письмо А. А. Измайлович) . . .	32
2. По казенной России (подвиги большевиков на внутреннем фронте)	49
3. Да будет проклята смертная казнь! В. А. Карелина	54
4. Голодовка левых соц.-рев. в Бутырской тюрьме	70
5. Grand Hôtel Boutyrki, К. Пр—га	92
6. Семь недель в В. Ч. К., А. А. Измайлович	106
7. Первое мая в Бутырской тюрьме	139
8. Вы арестованы!	144
9. На холодной горе, Леонида Вершинина	170
10. Побег из Бутырок, Ильи Майорова	183
11. Левые эсеры в белой тюрьме, П. В.	187
12. Побег из Казанской тюрьмы	192
13. Побег из Челябинска, Е. Г.	195
14. Голодовка 42	198
15. Жертвы большевистского и белогвардейского террора . . .	205
16. Левые эсеры в тюрьмах России	214
17. Лучше тюрьма	217
18. Ч. К.	219

ОБЛОЖКА РАБОТЫ
ПРОФ. ДОЙМИГА

ИЗДАТЕЛЬСТВО „СКИФЫ“ БЕРЛИН

VERLAG „SKYTHEN“ BERLIN W 30

Münchener Straße 16, Telephon: Kurfürst 47-68

НОВЫЕ КНИГИ:

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ	
„Сирин ученого варварства“	М. 12
А. РЕМИЗОВ	
„Чакхчыгыс Таасу“ Сибирский сказ	„ 18
ИВАНОВ-РАЗУМНИК	
„О Маяковском“	„ 35
А. ТЕРЕК	
„Равви“ Драма	„ 35
ЭЛ ЛИЦИЦКИЙ	
„Про два квадрата“	„ 40
А. КУСИКОВ	
„Аль Баррак“	„ 12
„Птица безымянная“	„ 35
ЛЕВ ШЕСТОВ	
„Достоевский и Нитше“	„ 90
„КРЕМЛЬ ЗА РЕШЕТКОЙ“	
(Подпольная Россия)	„ 120
А. РЕМИЗОВ	
„Лалазар“	„ 24

Генеральное представительство:

Центральный Книжный Склад „Образование“

Berlin W, Nürnberger Straße 65

DK265

.K67 ✓



A000024052412